

# Василь Быков. Третья ракета

1

Я лежу в окопе на разостланной шинели и долго гляжу вверх, в синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо - ни взрыва, ни выстрела, все спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скрылось за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер. Одинокая былинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком чернозема, обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие, размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы, важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье.

Аисты часто прилетают сюда в погожую предвечернюю пору и кружатся, наверно, высматривая какое-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто, по извечному обычаю, в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у приречных болот, на всех полях и дорогах - люди. Не успевают птицы сколько-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди, высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули, аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат.

Без аистов синее небо становится пустым и скучным, в нем не за что зацепиться взгляду, я прищуриваюсь и дремотно притихаю.

Вдруг на бруствере что-то резко щелкает, будто невидимый хлыст бьет по иссохшей пыльной земле, и я, вздрогнув, пробуждаюсь от сонливой задумчивости. В окопе по-прежнему тихо, все спят, только на ступеньках

ерзает что-то Лешка Задорожный, наш заряжающий. Он в нижней рубашке с незавязанными и разметанными на широкой груди тесемками; голые до локтей, сплошь покрытые татуировкой руки его держат промасленную гимнастерку, на вороте которой болтается непришитый конец подворотничка. Лукавые Лешкины глаза на круглом бровастом лице часто мигают, как это бывает у провинившегося в чем-то человека.

- Собака! - неизвестно к кому обращаясь, говорит Лешка. - Я ж тебя подразню!

Он кладет на ступеньки гимнастерку с надраенным до блеска гвардейским значком и хватает стоящую рядом лопату. Я не успеваю еще сообразить, что к чему, как Лешка тихонько высовывает из-за бруствера точечный ее черенок.

"Чвик!" - и на бруствере вдребезги разлетается сухой ком земли.

Лешка вздрагивает, но, заметив, что я увидел его проделку, озорно улыбается и уже смелее высовывает из окопа лопату. Где-то в неприятельской стороне слышится выстрел, и одновременно новая пуля откалывает толстую щепку от лопаты.

- Не порть инструмент, - говорю я Лешке. - Нашел занятие!

- Не-ет! Уж я его подразню, собаку!..

Он снова выставляет лопату. В то же мгновение четко слышится: "чвик", "чвик", - и с бруствера брызжет земля.

- О, законно! Позлись, позлись! - довольно говорит Лешка.

Он хочет сказать и еще что-то, но не успевает раскрыть рта, как устоявшаяся вокруг тишина нарушается грохотом крупнокалиберного пулемета. Песок, комья земли и клочья кукурузы разлетаются с бруствера, сыплются на лица, головы, спины, спящих в окопе людей. Но очередь короткая, она вдруг утихает, и ветер медленно сдувает с бруствера пыль.

- Что это? Что за безобразие? - кричит из дальнего конца окопа наш командир, старший сержант Желтых.

Как и все, он спал, но, очевидно, командирское чутье подсказало ему,

что кто-то провинился. Пригнувшись, без ремня, в расстегнутой гимнастерке, на которой позвякивает полдюжины медалей, он перелезает через спящие тела к Лешке.

- Тебе что, тесно в окопе? - со сдержанной злостью спрашивает он заряжающего.

Тот сидит внизу, присыпанный землей, и, обнажая свои красивые широкие зубы, нагло вато ухмыляется:

- Да вон Ганс! Чуть иголку из пальцев не вышиб, зараза!

- Иголку у него вышиб! Все баловство! Ты что, сосунок? Объяснить тебе, что к чему?

С минуту Желтых зло и неподвижно смотрит сверху вниз на Лешку. Однако тишина больше не нарушается, и старший сержант, успокаиваясь, начинает отряхивать с головы и усов песок. Потом он переводит все еще недовольный взгляд на нас - его подчиненных. Глаза у командира маленькие, неопределенного, будто вылинявшего, цвета, они остро смотрят из-под мохнатых строгих бровей: пожилое, синее, побитое порохом лицо его не предвещает добра.

- Чего разлегся? - вдруг босой ногой он толкает меня. - Не на курорте.

А ну, марш наблюдать!

Я не торопясь поднимаюсь с шинели, в душе ругая Лешку за неуместную шутку, а командир стоит и хмуро оглядывает остальных.

- А ты, Одноухий! Нечего притворяться: вижу, не спишь! Подъем! - командует он снарядному Кривенку, который, надвинув пилотку на смуглое, перекошенное шрамом лицо, неподвижно лежит на дне окопа.

Но Кривенок не шевелится, и Желтых, наклонившись, дергает его за рукав.

- А ну, подъем!

Солдат нехотя раскрывает сердитые глаза.

- Не понукай! Не запряг!

- Что не запряг, подъем, говорю!

Кривенок лениво встает и, удобнее устраиваясь под стенкой окопа, ворчит:

- Порядочек! Не успеешь вздремнуть - подъем...

Желтых переводит взгляд в угол на остальных, но там уже будить никого не надо. Молчаливый и тощий, как жердь, Лукьянов тихо сидит на шинели, усердно хлопая глазами и делая вид, что давно уже проснулся. Как всегда, когда командир ругается, в синеватых глазах этого еще молодого, безвременно увядшего человека появляется молчаливая робкая покорность. Уголки его тонких губ вздрагивают, брови смыкаются - он явно не переносит грубости. Остальные давно уже привыкли к командирскому крику, и им хоть бы что. Уже деловито копошится на коленях наводчик - якут Попов. Он, видно, сразу догадывается, чем все кончится, и, не ожидая приказания, вытаскивает из ниши ящик с недочищенными накануне снарядами. Вид у него несколько надутый, недовольно-заспанный, широкое скуластое лицо сосредоточенно, веки узких глаз припухли.

- Ну, а вы чего смотрите? - покрикивает Желтых на остальных. - Думаете, калач дам? Задорожный, Лукьянов, Кривенок, за работу!

Бойцы не спеша берутся за дело.

Кривенок, тяжело вздохнув, подступает к раскрытому ящику. Через всю его щеку, от рта до уха, ярко краснеет обезображивающий лицо шрам - недавний след минного осколка; на месте начисто срезанного уха лишь небольшое отверстие. Попов с Лукьяновым уже протирают ветошью снаряды. У Попова это получается сноровисто и ловко, натренированные его руки так и мелькают вдоль блестящих латунных гильз. Лукьянов же вял и медлителен, одной рукой поворачивает скользкий снаряд и неуверенно трет его тряпкой, брезгливо сжатой между двумя пальцами; Кривенок пристраивается рядом. Только Задорожный, натянув на круглые плечи тесноватую гимнастерку, проходит по окопу мимо работающих.

- Ерунда! И втроем управятся!

Он садится в конец окопа и принимается за свое любимое занятие: сдвинув пониже, разминает на лодыжках кирзовые голенища новых сапог. Эти с особенным шиком пригнанные сапоги, коротенькая, подрезанная снизу гимнастерка, широченные суконные галифе цвета хаки, а также лихо сдвинутая на самое ухо пилотка заметно выделяют Лешку среди нас. Кажется, он чувствует в этом немалое свое превосходство над остальными, и потому с его подвижного лица не сходит беззаботная озорная улыбка.

Желтых, явно любясь в душе его нагло-щегольской независимостью, беззлобно ворчит про себя:

- Лодырь... Сачок... Ну, смотри мне, футболист!

## 2

Мы - "сорокапятчики". Еще нас называют ПТО (противотанковое орудие), чаще "пушкари", а то и "прощай, родина". Последнее обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира старшего сержанта Желтых, который воюет в батарее с сорок первого, и ничего - жив, здоров. Но, видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за три года, обновилась оружие и тактика, другими уже стали немецкие танки, появились "тигры", "пантеры", "фердинанды", а "сорокапятка" у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порою нам бывает не сладко.

Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лешка, и осторожно высовываю из-за бруствера острый кончик "перископа-разведчика". В маленьком его глазке отражается хорошо знакомая местность - не запаханное с весны, заросшее лебедой и пыреем поле, изрезанное серыми гривами окопов и ходов

сообщений. За ними на нейтралке едва заметна в траве извилина пересохшего ручья, возле него ржавеет закопченный, с настезь открытыми люками танк. Дальше горбятся неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них, нам уж не видно, зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади - узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим упирается в недалекую тыловую деревню. (От деревни, правда, осталось одно название. После недавних боев на месте ее мазанок высятся груды глины, торчат вывороченные обгоревшие бревна, и зарастают травой подворья, на которых бродят голодные кошки. Жители ее ушли куда-то на север.)

Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пушчонку, возле которой вырыт небольшой, в пять шагов, окоп-ровик.

Старший сержант, однако, у нас не злопамятен и вскоре успокаивается. Свернув сигарку почти с крупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы сизого пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтых иногда вечером приносит килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждает Задорожный, чтобы накуриться нашему командиру, надо свернуть сигарку размером чуть ли не с гаубичный ствол.

- Слушай, Лукьянов, - хитро поглядывая сквозь дым, говорит Желтых. - Ты не парикмахером до войны был?

- Нет, - грустно отвечает Лукьянов. - Я в архитектурном учился.

- А-а... А я думал, парикмахером. Уж очень ты деликатно тряпку держишь, - говорит Желтых и вдруг прикрикивает: - А ну, три сильнее! Не разорвется, не бойся!

Лукьянов смущенно прикусывает губу и начинает тереть быстрее, но

смазанный снаряд выскальзывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке.

- Ну вот, разиня! - машет рукой Желтых. - Тоже мне архитектор... Иди сюда, другую работу дам.

Солдат вытирает снаряд, потом о подол гимнастерки - руки, а Желтых расстегивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую карточку ПТО.

- Вот что... На, нарисуй как следует. А то приходят, спрашивают, почему неаккуратная. В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет грамотеев: футболист, архитектор, учитель вон, - не забывает он намекнуть и на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. - Только лодыри все: лишь бы дрыхнуть.

Лукьянов заметно оживляется: новая работа ему по душе. Поджав под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движения его тонких пальцев обретают уверенность, лицо проясняется, только в уголках бледных губ все еще таится тихая скорбь. Желтых сидит напротив и с затаенным любопытством следит за движениями его карандаша.

- Вот тут, вижу, ты мастер. И куст как раз двойной, будто спаренный... И танк - вылитый "тигр". Хорошо.

Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка: ничего особенного, обыкновенный чертеж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить. Хоть он и командует расчетом, но образование у него, кажется, не то два, не то три класса, и мы никогда не видели, чтобы Желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчета (именной список, карточку ПТО, отчет по снарядам), ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову, Попову или мне, а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный - испытанный авторитет по части разных наук. Даже Задорожный, который вообще не

признает никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин, сколько лет Большому театру в Москве, кому перед войной проиграл московский "Спартак" или кто такая Мария Стюарт. Лукьянов обычно сдержанно выслушает вопрос, потом, вздохнув, коротко ответит, но всем нам ясно, что знает он еще множество куда более значительных и сложных вещей.

На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен, многое пережил и теперь какой-то надломленный, обиженный, но, кажется, неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало.

Куда понятнее нам Лешка Задорожный, хитрец, лежебока и ловкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а все треплется да охорашивает себя. Но Задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. Правда, он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь, и тогда больше всех перепадает тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный, к кому Лешка относится с некоторым уважением (после командира, конечно), - это якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нем следует сказать отдельно.

Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик. Все наши неудачи происходили по разным причинам, но все успехи - подбитые в последних боях два танка, сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы - дело ловких рук и зорких глаз Попова. Глаза у него действительно очень зоркие, других таких на батарее нет. Такие же особенные у него пальцы - ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он все время мастерит что-нибудь: то футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звездочкой. И все у него выходит настолько добротное и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен, даже вездлив в мелочах, особенно когда ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас и себя, и мы злимся в душе



на такую его чрезмерную усердность.

Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит Попова, а чаще всего меня, или Лукьянова, либо Лешку, если, конечно, тот не отговорится.

Вот так и живем мы, небольшой орудийный расчет, шесть человек, валяемся долгие дни в узком окопе-ровике и с нетерпением ждем вечера с его несколько иными, чем днем, заботами.

### 3

Прежде всего: голод - не тетка.

К вечеру мы все так голодны, что не помогают ни курево, ни увесистые головы подсолнуха с мягкими, еще не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга - каша, которую, поев, мы все дружно охаиваем, - кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб - черствый, колючий, пополам с кукурузной мукой. Вот и теперь в нише, на верхнем снарядном ящике, лежит высохший остаток чьей-то недоеденной пайки и каждый из нас время от времени поглядывает туда. Первым, конечно, не выдерживает Лукьянов. Перестав на минуту чертить, он испачканными пальцами как-то стыдливо тянется к хлебу и, не глядя ни на кого, спрашивает:

- Никто пожевать не хочет?

Коротко взглянув на него, мы все молчим.

- Так я съем, - тихо говорит Лукьянов.

И он жует этот кусок, с усилием двигая челюстями под тонкой кожей худых щек, а мы глотаем слюну и отводим взгляды в сторону.

Лукьянов только недавно вылез из-под шинели - дважды в день, утром и вечером, его трясет малярия, и только к ночи он немного приходит в себя. Мы прощаем Лукьянову несдержанность, понимая, что в плену ему пришлось хлебнуть горя. Хлеб он съедает до последней крошки и поглядывает на небо, еще полное золотистого отсвета заходящего солнца. На стене же окопа и на бруствере уже нет ни одного лучика - все внизу застлано тенью. Откуда-то тянет прохладой, медленно наступает вечер.

Все мы нетерпеливо ждем того часа, когда на землю опустится ночь. Ждет его и Желтых - ночью он ходит к начальству или в пехоту, где у него много друзей и знакомых, ведь старший сержант - ветеран полка. Ждет вечера и Попов. Сразу, как только стемнеет, он вылезает из окопа и начинает хлопотать возле пушки - протирает запыленный казенник, прицел, вытряхивает чехлы и обновляет маскировку. Лешка вечером, словно молодой медведь, валяется на траве или бродит возле огневой в поисках мелких приключений. При удобном случае он не преминет улизнуть в деревню, где ему удастся иногда раздобыть вина и закуски. Лукьянов, как только приносят ужин, наедается и тихонько пристраивается подле окопа, уйдя в свои затаенные думы. Я тоже жду того часа, когда можно посидеть в тишине на бруствере и вслушаться в ночь, всегда полную далеких и близких, явных и загадочных звуков. Но в их бесконечном множестве я стараюсь уловить шаги - легкое шуршание по знакомой тыловой тропке. Я жду их долгие, мучительные сутки, жду, сам не зная почему, наперекор своей воле...

Между тем быстро темнеет. Вечер гасит в небе золотисто-опаловый свет, с востока наплывает и ширится глухая синевато-сизая тень, окоп погружается в сумерки. В снарядной нише и под палаткой, которой накрыт дальний конец нашего убежища, уже ничего не видно, значит, пора вылезать. Желтых, став на колени, подпоясывается широким румынским ремнем со множеством дырочек, небрежно одергивает гимнастерку и глуховато командует:

- А ну, собирайся за ужином! Пойдут сегодня... - На момент он

замолкает, оглядывая нас. - Пойдет Лукьянов и...

Желтых секунду раздумывает, кого назначить вторым, но рядом вскакивает

Лешка:

- И я, командир!

- Чего это ты такой быстрый? - удивляется старший сержант.

Лешка горделиво выпячивает крутую широкую грудь, большими пальцами ловко сдвигает под пряжкой сборки: воротник его франтовато расстегнут и белеет свежей полоской марли.

- Нужно, - улыбается Лешка и подмигивает одним глазом.

- А-а, - догадывается Желтых. - Известно... Ну что ж, дело молодое. Не то что нам, старикам...

"Черт бы его взял, этого хвата Лешку, - думаю я, - всегда он первый".

Сегодня на батальонной кухне дежурит Люся, санинструктор, младший сержант медицинской службы - та самая наша Синеглазка, которую так жду и я и которую первым увидит Лешка. Сразу становится скучным весь этот долгожданный вечер, не радует и предстоящий ужин.

- А что же, законно! - повторяет Лешка свое любимое словцо и, бесцеремонно расталкивая нас, пробирается к выходу.

Мы вылезаем из окопа. Сумерки уже плотно застлали землю, вблизи еще видны кукурузные кучки и кое-где черные глазницы воронок, но вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато-сумеречном тумане, и в небе загораются первые одинокие звезды. Удивительно, как хорошо тут - привольно и широко, как много воздуха! И я думаю, как мало надо человеку, чтобы почувствовать незамысловатую прелесть жизни, коротенькую, на несколько минут, радость. Потом эта радость исчезнет, человек слишком быстро привыкает к хорошему и перестает ощущать его.

Пехота тоже задвигалась. Кто-то зовет какого-то Солода, в сумерках бряцает оружие, слышится приглушенный топот ног. Собрав котелки, Задорожный с Лукьяновым уходят по тропке к полоске подсолнуха в тыл.

Скоро ужин. Я ложусь на закиданный кукурузой бруствер и гляжу вверх. В высоком и еще прозрачном небе горят россыпи звезд, но их как-то мало, совсем не то что зимой. Широко и раздольно поблескивает ковш Большой Медведицы. По давней школьной привычке я провожу от его края прямую и нахожу Полярную в хвосте Малой Медведицы. Там, далеко на севере, в стороне от отрогов Карпат, что в погожий день синеватой дымкой выступают на горизонте, лежит мой край, моя истерзанная Беларусь. Скоро исполнится год, как я оставил ее. Беспомощного, спеленатого бинтами, с перебитым бедром, самолет перенес меня в тыл, добрые люди выходили, я снова веял в руки оружие, но там остались мои земляки, мои старенькие родители, остались в лесах партизаны родного отряда "Мститель". Я не попал к ним обратно - военная судьба забросила меня на фланг огромного фронта в Румынию; но - что поделаешь - моя душа там, в далекой лесной стороне. Как аист, кружит она над ее полями, перелесками, большими и малыми дорогами, над соломенными стрехами ее деревень. Днем и ночью стоят перед моими глазами синеекие озера нашего края, шумливые дремучие боры, полные всякого зверья и птиц, поживы в ягодную летнюю и осеннюю грибную пору, столь памятные загадочными детскими страхами. Но то было давно, в полузабытое и непостижимо беззаботное время, когда на земле был мир. Теперь все изменилось. Теперь в черной тоске молчат деревеньки, пустуют поля, а на западе над борами еще катится голосистое эхо партизанских боев. Другой, суровой и беспокойной жизнью живет теперь моя Беларусь, непокоренная, героическая, славная многотрудными делами тысяч своих сражающихся и павших сынов. И я всегда ношу в себе молчаливую гордость за них, скромных моих земляков, и знаю, что я в большом неоплатном долгу перед моей землей и моим многострадальным народом. Но я только солдат, - видимо, час не пробил еще, и я жду, терпеливо и долго.

Рядом на жесткие стебли маскировки опускается Кривенок. Он не ложится, как я, а молча сидит и вглядывается в ночь. Мне снизу хорошо видна его

настороженная и какая-то четко-нервная худая фигура; голова у Кривенка большая, лобастая, пилотка надета поперек. Парень он с норовом, молчун и, как говорит Лешка, совершенно без чувства юмора, поэтому они принципиальные противники. Меня также не очень располагает его характер, но мы тут самые молодые с ним, что невольно и без слов дружески связывает нас. И еще: с самого начала войны наши сердца глухи к слову "почта". Мы не бросаемся, как все, к солдату, который приносит из штаба письма, никто никогда не прислал нам ни одного треугольника. Мои родители в оккупации, у Кривенка их нет совсем.

Но вообще он неплохой товарищ, хоть и упрямый. Правда, из-за своего упрямства Кривенок уже не раз был наказан. Как-то, возвращаясь из санбата, где ему залечили рассеченное лицо, он встретил разведчиков с двумя немцами. То были "языки", за которыми ребята несколько ночей подряд ползали в тыл к врагу и теперь, довольные удачей, вели пленных в штаб. Но где Кривенку было разбираться в этом, если еще болела щека и жажда мести распирала его душу. Он набросился на пленных. Взбешенные хлопцы едва спасли "языков" и вместе с ними привели в штаб Кривенка, под глазом которого расплывался багровый синяк.

В штабе его долго ругали разведчики, начальники служб и, наконец, для окончательного разговора привели к командиру дивизии. Тот так же, не щадя, отчитал солдата, но Кривенок не промолвил ни слова в свое оправдание, все молчал, и полковнику, наверное, показалось, что он раскаивается. Вдоволь покричав, командир спросил:

- Ну, ты понял? Будешь еще самоуправничать?

Солдат, насупив изувеченное лицо, молчал.

- Я спрашиваю! Отвечай!

- Попадутся - все равно поубиваю, - мрачно пообещал Кривенок.

Этот ответ и решил судьбу упрямого солдата. Кривенок попал в штрафную роту, где ему, однако, посчастливилось - провоевал три долгих месяца и

даже не был ни разу ранен. Потом на бесчисленных дорогах войны он все-таки отыскал свою часть и однажды с трофейным пулеметом на плече заявился на батарею. Желтых ворчливо пожурил хлопца и зачислил его в пулеметчики, разумеется, по совместительству с обязанностями орудейного номера.

- Слушай, Кривенок, - спрашиваю я, - откуда ты родом?

- А ниоткуда.

- Как это?

- А так. Родился под Смоленском. А потом, когда мать умерла, где только не побывал. Все детдома обошел.

- Плохо все же так... без родного угла.

- А на черта мне угол. Тебе много пользы от него?

- Много, - говорю я, подумав.

- А мне плевать. Гадов бить всюду одинаково, - ворчит Кривенок. Голос у него раздраженный, отрывистый.

- Чего это ты нервный такой? - как можно добродушнее спрашиваю я.

Но Кривенок только ругается:

- А ты не будешь нервный?.. Расписать тебе морду так - небось занервничаешь.

- Люди с разными лицами живут.

- Живут! - Он ерзает на комьях и глядит в сторону, опершись на локоть.

- Знаю, как живут. Каждому от тебя отвернуться хочется.

- Это ты напрасно. Девочек же у нас нет. Чего стыдиться?

- Девочек, девочек! - едва слышно ворчит Кривенок. - Плевать мне на девочек.

Однако он заметно нервничает, швыряет в темноту ком земли, вытягивается на бруствере и снова садится.

- Да и тут... Люська эта ходит...

Так вот в чем дело! Это правда, она всегда меняется, становится более сдержанной и мрачнеет, когда встречается взглядом с Кривенком, хотя ведет себя с ним, как и со всеми. Да и Кривенок, кажется, старается быть

подальше от нее и никогда не заговорит, не поздоровается. И вдруг меня осеняет догадка, от которой холодеет на сердце. Неужели? Но, видимо, так. И Кривенок, будто в подтверждение моей мысли, говорит:

- Как к малому или больному ко мне... Раньше такая не была.

"Ну вот! Так оно и есть. И ему она не дает покоя в жизни", - думаю я.

Теперь понятно, отчего он такой нервный и грубый, особенно когда появляется Люся.

Затаив дыхание я жду, что еще скажет он, но Кривенок молчит, и я тоже умолкаю. Что я могу сказать ему? Сказать, что и мне она снилась дважды, что и я вот теперь лежу и думаю: придет ли? Так хочется видеть ее, слышать, чем-нибудь угодить ей. Необыкновенная, непонятная и никогда прежде не испытанная нежность к этой девушке наполняет меня.

Эх, Люся, Люся! Когда я пришел в полк, она была на батарее санитарным инструктором. Я видел девушек-санинструкторов и в других подразделениях; они, казалось мне, несколько свысока относились к нашему брату солдату и больше тянулись к офицерам. Это было понятно, но это и отталкивало нас. Синеглазка же была простая, удивительно общительная и ко всему еще очень красивая девушка. Невысокая, подвижная, с виду совсем еще девчонка лет шестнадцати, она вела себя так, будто не знала, какая на самом деле хорошая. У нас она пользовалась всеобщим уважением: и у бойцов, и у командиров, молодых и постарше. Мы чуть ли не наперебой старались сделать ей что-либо приятное, как-нибудь облегчить нелегкую ее фронтовую жизнь. Правда, она не из тех, кто принимает ухаживания и заботы. Усердная в службе, Синеглазка сама задавала нам немало хлопот своими заботами о нашем здоровье, быте, гигиене. Видно, потому, а может, по какой-нибудь другой причине начальство и решило забрать ее в полковую санчасть. Ее перевели от нас, но никем не заменили, а девушка не забывает своей батареи, почти каждую ночь прибегает к нам, и, наверное, половина из нас тайком влюблены в нее. А она будто и не замечает того - по-прежнему со всеми одинаково

весела и, как всегда, заботится о нашей окопной жизни. И все же порою кажется мне, что это не совсем так, что кто-то приворожил ее сердце, иначе не присохла бы она так к нашему расчету.

Мы молчим и терпеливо ждем, сторожко вслушиваясь в неясные звуки ночи, - только тех, привычных и желанных нам звуков не слышно.

- Да... Ну что ж, - отвечает Кривенок на какие-то свои мысли. - Поздно уже.

У меня ноет, щемит сердце, и все думается, что сегодня Люся уже не придет.

#### 4

Но она все же приходит.

Приходит, когда мы уже почти теряем надежду увидеть ее и молча, уныло сидим на бруствере. Рядом на огневой лязгает затвором Попов. Желтых стоит на площадке между станин и по-стариковски глухо покашливает. Мы ждем наших ребят с ужином и наконец слышим в сумерках знакомые голоса. Полные котелки теперь уже не брякают, бойцы мягко ступают резиновыми подошвами своих кирзачей, все явственнее доносится их говор, и мы вслушиваемся. Что-то невнятное тихо произносит один голос - наверное, Лукьянов, потом отзывается второй, - погромче - это Задорожный, и вдруг слышится тоненький девичий смех. Кривенок вздрагивает и напряженно вглядывается в темноту.

- Ужин идет, - как всегда глуховато, но с заметной живинкой в голосе объявляет Желтых. - А ну, давай тяни палатку! - И вынимает из кармана ножик с деревянным черенком.

Этим ножом старший сержант, как отец в большой семье, режет для нас



хлеб, открывает консервы, колет сахар.

Пока Кривенок отряхивает запыленную за день плащ-палатку, они подходят втроем. Лешка весело зубоскалит, явно адресуясь к Люсе, и она приглушенно, радостно смеется.

- Полундра! - еще издали шутливо кричит Задорожный. - Ложки к бою, гвардейцы!

- Добрый вечер, мальчики, - доносится из темноты такой необычный тут своей задушевностью девичий голос.

Мы разноголосно здороваемся:

- Здрасьте!

- Добрый вечер!

- Законно! Вечер на "пять"! - развязно объявляет Задорожный. - Вот ужин. А вот Люсик. Отведать, проведать и так далее.

Он ставит на землю котелки с супом и чаем. Лукьянов вынимает зажатую под мышкой буханку и кладет на разостланную Кривенком палатку. Но мы уже забыли, что проголодались, сидим и смотрим на нашу долгожданную гостью. А она тут как дома, опускается на колени рядом с Желтых, снимает и расстегивает свою толстенную медицинскую сумку.

- Молодец, Люська, - довольно говорит Желтых. - Не забываешь старых друзей.

- Ну как же я могу вас забыть, - улыбается Люся - Вот мазь принесла. У нас не было, так попросила, привезли из медсанбата... Мазать три раза в день. И бинт, пожалуйста, новенький, для перевязки.

- Ну, спасибо. Но ведь сколько я этих мазей уже перемазал...

Желтых рад ее заботе, довольно сопит и сует баночку в карман. У командира на ноге экзема, которая особенно беспокоит его в жаркие дни. Люся настойчиво лечит Желтых уже не одну неделю.

- То была так себе. А эта новая... - уверяет Люся. - Только не лениться, мазать три раза в день... Вот еще, забыла: комиссия в четверг,

так что, может, отпуск получите.

- Ого! - не выдерживает Лешка. - Вот это да! На Кубань. К Дарье

Емельяновне! Возьми меня в адъютанты. А, командир?

- Ладно!.. Рано еще ржать, - говорит Желтых и, позванивая медалями, принимается за хлеб. - Думаешь, комиссуют? В медсанбат положат да мази пропишут.

- О, тоже неплохо! Медсанбат! Сестрички-лисички. Не хуже Емельяновны, - паясничает Лешка. Примерившись, он норовит выхватить из-под ножа командира горбушку, но Желтых бьет его по руке.

- А ну погоди! Порядка не знаешь.

Возле Люси, несмело переминаясь с ноги на ногу, стоит Попов.

- Товарищ Луся. Сильно тебя просить хочу, - говорит он и смолкает.

- Ну что, Попов, говорите.

- Жена письма не слал. Почему не слал - не знай Попов. Надо штаб документ пиши. Бумага печатку ставь.

- Послать запрос? - догадывается Люся.

- Вот, вот, запрос...

- Хорошо. Попрошу завтра в штабе. Скажите мне адрес.

Попов чешет затылок и вздыхает.

- Якутия. Район Оймякон...

- Бойтся, чтобы жена к шаману не перебежала... Пока он тут кукурузу ест, - подтрунивает Лешка.

Люся с обидой упрекает его:

- Ну что вы, Задорожный. Все с шутками.

- Жена нету ходи шаман. Шаман нету Якутия, - серьезно говорит Попов, делая ударение в слове "Якутия" на "и".

- Не слушайте его, Попов. Я все сделаю завтра, - просто обещает Люся и закрывает сумку.

- Ну, дочка, садись ближе, поужинай с нами, - приглашает ее командир.

Однако Люся поднимается с земли.

- Нет, нет, вы ешьте. Я уже...

Она берегся за сумку, и мне вдруг становится нестерпимо грустно оттого, что Люся вот-вот уйдет и я останусь в ожидании нового далекого вечера.

Девушка спешит и старается на ходу закончить свои дела.

- Лукьянов, вы все болеете? А как у вас с акрихином? Весь выпили?

- Еще на два приема максимум, - тихо и тоже с затаенной грустью отвечает Лукьянов.

- Это мало. Возьмите еще немного. Только принимать регулярно. А то некоторые выплевывают...

- Ото! Из таких ручек выплевывать? - притворно удивляется Лешка. - Вот никакая холера не берет! А то из твоих, Синеглазка, ручек по килограмму этой отравы съедал бы. Ей-богу! Чтоб я сдох!

- Ох и весельчак же вы, Задорожный! Насмешник! - улыбается в темноте Люся.

Желтых тем временем раскладывает на палатке шесть ровных солдатских паек и, видя, что мы медлим, привычно покрикивает:

- Ну, чего ждете? Калача? А ну хватай, живо!

Задорожный огромной пятерней хватает горбушку, сразу надкусывает ее и, по-восточному скрестив ноги, усаживается возле палатки. Степенно берут по пайке Попов и Лукьянов, поудобнее устраивается на земле командир. Только мы с Кривенком неподвижно сидим на бруствере.

- Нечего дремать - суп остыл. Налегай, гвардия! Синеглазка, пожалуйста, ко мне, будем на пару, так сказать, есть и так далее, - с легкостью провинциального ухажера обращается Лешка к девушке.

Люся, однако, пробует его обойти.

- Нет. Вы ешьте, а мне еще в другой расчет, к Степанову нужно.

- Без тебя? Ни в жисть, - вскакивает и преграждает ей путь Лешка. - Ну хоть пробу снять. Одну ложечку...

Люся, видно, совсем не хочется есть, но попробуй отвяжись от этого Лешки. Кривенок неподвижно сидит на бруствере и безучастно глядит, как распинается Задорожный. Мне тоже почему-то неприятно и уже хочется, чтобы Люся не послушалась Лешки и ушла. Но она не уходит. Лешка деликатно и уверенно берет девушку за узенькие плечи и подводит к своему месту возле палатки. Мне кажется, что она оттолкнет его нахальные руки, я уже хочу крикнуть: "Отвяжись, нахал!" - но Люся вдруг послушно и легко садится с ним рядом. Лешка доволен, он добился своего и, враз сменив притворно-ласковый голос на грубый, кричит в нашу сторону:

- Эй, Кривенок! Не ешь - дай ложку!

- Иди к черту, - бросает Кривенок и вытягивается на земле.

Я вынимаю из-за голенища ложку и протягиваю ее Люсе. Но Люсе она, конечно, не достается - Задорожный вырывает ложку из моих рук, а свою с нагловатой услужливостью сует девушке.

- Ну, я только попробовать, - смеясь и, кажется, довольная его вниманием, говорит Люся. - Раз вы такие гостеприимные...

- Мы? Го-го! Мы и самого румынского короля кукурузой накормили бы. Котелок бы облизал! - хвастает Задорожный.

Люся зачерпывает суп. Какое-то время все молчат, работая ложками, потом Желтых объявляет:

- А кулеш как будто ничего: есть можно... Ну, что там слышно в ваших медицинских тылах? - спрашивает он девушку. - Скоро ли нам, дармоедам, в наступление? А то всю румынскую кукурузу поедим.

- Ерунда! Куда спешить?! От кукурузы это не зависит, - говорит Задорожный.

Но Желтых не терпит, когда ему возражают:

- Много ты понимаешь: не зависит! А ну скажи, Лукьянов, зависит ли наступление от харчей?

- Безусловно, - тихо отвечает Лукьянов. - Харч - экономический фактор,

составной элемент, так сказать, всех действующих на войне сил...

Люся слушает их разговор, съедает несколько ложек супу и, взглянув в нашу сторону, говорит:

- Что же это: я ем, а хлопцы голодные.
- Не помрут, потерпят! - бросает Лешка.
- Ну как же! Идите кушать, ребята, - зовет Люся.
- Сиди, говорю! Они не голодные. Лозняк, ты голоден, что ль?
- Сыт! - кусая губы, зло говорю я.
- Ну вот видишь: он сыт!
- Ой, неправда. Притворяется, - говорит Люся, оглядываясь.

Я молчу.

- Павлик, а ты чего заупрямился сегодня? - ласково говорит она Кривенку.

- А ничего.
- Иди кушать.
- Ладно, отстань.
- Ну, что это вы такие, мальчики? Тогда это оставьте им.

Люся решительно забирает с палатки хлеб, котелок с остатками каши и идет к нам.

- Ешьте, - просто говорит она, подавая мне котелок, хлеб и ложку.

Кривенок что-то хмыкает и начинает закуривать. Курить открыто нельзя, но парень, видимо, забывает об этом и ярким огоньком раздувает сигарку.

- А ну, осторожней там! - строго прикрикивает Желтых. - Закочегарил!
- Будем есть? - тихо говорю я Кривенку, но он не отвечает, а все курит,

курит.

"Вот тебе и радость, - думаю я. - Вот и дождались..."

С болью и досадой я поглядываю на тусклую в сумерках фигуру Люси, с ненавистью - на Задорожного и не могу понять, как это она не видит его наглости, не замечает пошловатых шуток, относится к нему так, будто он тут

лучший среди нас, и мне даже кажется, что ей хорошо вот так сидеть с ним рядом и есть суп.

- Ну, вот что! Поужинали - дай бог позавтракать, - говорит Желтых, вытирая усы, и принимается за второй котелок. - Теперь будем пить чаек...

Но попить чаю ему не удастся. Не успевает он снять крышку, как сверху неожиданно и визгливо звучит: "И-у-у... И-у-у..."

"Тр-рах! Тр-рах! Тр-рах!" - гремят в темноте вокруг нас взрывы. Горячие волны бьют в спины, в лица, обдают землей. Близкое пламя на мгновение вырывает из темноты испуганные лица, ослепляет. И снова в воздухе: "И-у-у... И-у-у!"

- Ложись! - властно кричит Желтых. - В окоп!

Я переваливаюсь через бруствер и падаю вместе со всеми в черную тьму окопа. Кто-то наваливается на меня, больно ударив каблуком в спину. Земля под нами рвется, вздрагивает раз, второй, третий... По головам, согнутым спинам ударяют комья земли, и снова все утихает.

- Собаки! - говорит в напряженной тишине Желтых. Расталкивая нас в темноте, он начинает вставать. - Засекли или наугад?

За командиром шевелятся остальные, кажется, все целы.

- О господи! И напугалась же я, - вдруг совсем рядом отзывается Люся, и я вздрагиваю - ее теплое, слегка дрожащее тело только что прижималось к моей спине. С непонятной неловкостью я отстраняюсь и, обрушивая землю в окопе, даю место девушке.

Мы все встаем, вслед за Желтых начинаем вылезать на поверхность. А возле плащ-палатки, будто ничего не было, спокойно доедая свой суп, сидит Лешка.

- Ну и быстры же на подъем! - язвит он. - Трах-бах - и уже в траншее. Вояки! Одним лаптем семерых убьешь.

Ему никто не отвечает. Желтых стоит, вслушиваясь в тревожную тишину. Впереди над холмами взлетает первая за сегодняшний вечер ракета. Теряя

огневые капли, она разгорается, полминуты мигает далеким дрожащим огнем и гаснет.

- А ты не очень-то! - говорит Желтых. - Глади, кабы боком не вылезло.

Дошутишься.

- Ха! Двум костлявым не бывать - одной не миновать. Подумаешь!..

Ребята снова усаживаются вокруг палатки, опасливо поглядывая в сторону немцев, а Люся, видно еще не успокоившись, стоит на выходе из окопа.

- Ой, неужели вы не боитесь? - спрашивает она Задорожного.

- А чего бояться?

- Завидую смелым, - говорит Люся и вздыхает. - А я все не привыкну...

Трусиха такая, ужас...

И тут я вижу Кривенка: он сосредоточенно и молчаливо сидит на прежнем месте и курит из кулака. Однако его безрассудная храбрость, кажется, остается никем не замеченной.

Задорожный тем временем, с аппетитом облизав ложку, встает во весь рост, потягивается и снова обращается к Люсе:

- Смелее, Люстик! С нами не пропадешь! Идем провожу тебя до второго расчета.

- Нет, спасибо, я сама, - отвечает Люся. - Где-то моя сумка? Не помню, куда и бросила.

- Здесь сумка, - каким-то приглушенным голосом впервые отзывается Кривенок.

Лешка, однако, выхватывает из его рук сумку и подает Люсе. Она надевает ее через плечо и обходит огневую, чтобы выйти на тропку, ведущую во второй батальон. Рядом идет Задорожный.

- Спасибо за ужин, мальчики. До свиданья.

- Ауфвидерзей, - развязно бросает нам Задорожный. - Я на секунду.

- Приходи почаще, - говорит Желтых Люсе. - Не забывай нас!

Я подхожу к Кривенку, поднимаю с земли опрокинутый котелок. Потом

сажусь рядом и начинаю медленно жевать сухую горбушку хлеба.

5

К полуночи всходит луна.

Она как-то незаметно выползает из-за горизонта и, взбираясь все выше, начинает свой неторопливый путь по светловатому июльскому небу. Небо так и не потемнеет до утра, оно все светится каким-то неярким внутренним светом, едва притушенным дымчатой синевой ночи. Теплый южный ветерок несет с собой неясные шорохи, непонятные, похожие на человечьи вздохи, отголоски далекого гула, будто где-то грохочет танк или надывается на подъеме машина. Далеко, видно, по ту сторону Прута, в небо взлетают тоненькие пунктиры трассирующей очереди и гаснут один за другим, будто скрываются за невидимую точку.

Вслушиваясь в ночь, мы сидим возле запорошенной песком плащ-палатки, на которой уже не осталось ни крошки пищи. Желтых, откинувшись на бок, сладко затягивается из пригоршни сигаркой, рядом опускается на землю Попов. Лукьянов остатками чая моет котелки - сегодня его очередь. Лешка, вернувшись из недалеких проводов, валяется на земле, сопит и стонет от избытка силы и какого-то душевного довольства. Один только Кривенок не подходит к нам и молча сидит на отшибе, на краю бруствера.

- Любота! - говорит Желтых с удовольствием в голосе. - Теперь у нас на Кубани ой как жарко! От зари до зари, бывало, в степи вкалываешь до седьмого пота, а тут лежи... спи. Поел и на боковую. Так и от войны отвыкнешь. Правда, Лозняк? Ты сколько в госпитале провалялся?

- Девять месяцев без трех дней.



- Крепко, видно, тебя тюкнуло. В ногу?

- В бедро, - говорю я.

- Та-а-ак, - неопределенно вздыхает Желтых и, подумав, добавляет: - А вообще, пропади она пропадом, война. В японскую у меня деда убило. В ту германскую - отца. Японцы под Халкиным-Голом...

- Халхин-Голом, - поправляет Лешка.

- Что? А черт его выговорит... Да. Так там брата Степана покалечило. Пришел без руки, с одним глазом. Теперь - я... Хотя тут уж ничего не скажешь. Уж тут надо. Или Гитлер тебя, или ты его. Только мне все думается: неужели и моим детям без отца расти?

- Слушай! - приподнимается Лешка. - Вот ты говоришь, война, война! Гитлер! А ты подумал, кто ты до войны был? Ну кто? Рядовой колхозник! Быкам хвосты крутил, кизяки голыми ногами месил. Точно? Ну?

- Ну и что? - настораживается Желтых.

- А то. Был ты ничто. А теперь? Погляди, кем тебя война сделала. Старший сержант. Командир орудия. Кавалер ордена Отечественной войны, трех медалей "За отвагу", член партии.

- Вот сказал! - язвительно удивляется Желтых. - Кавалер! Знаешь ли ты - у моего отца крестов было больше, чем у меня медалей, и что? А то - кавалер! - зло кряхтит на бруствере Желтых.

- Ерунда! - объявляет Лешка, беззаботно потягиваясь на траве. - Моя правда!

- Правда! Я все медали отдал бы, только б детей сберечь. А то если до нового года война не кончится - старший мой, Дмитрий, пойдет. Восемнадцать лет парню. Попадет в пехоту, и что думаешь? Молодое, зеленое - в первом же бою и сложит голову. Не пожив, не познав. А ты - "медали"! Хорошо тебе, холостяку, ни кола ни двора, сам себе голова. А тут четверо дома!

Лешка молчит, а командир вздыхает и молча глядит в темноту.

- Только и радости, как подумаешь: эта война уже последняя. Довоюем, и

баста. Второй такой не будет. Не должно быть! Сам я готов на все. Но чтобы в последний раз. Чтобы детям не пришлось хлебать все то же хлебово.

- А что, пусть повоюют, - не то всерьез, не то в шутку возражает

Задорожный. - Умнее будут. Война, говорят, академия.

- Академия! Сам вот сперва пройди эту академию, а потом говори.

- Ерунда! Воюют же хлопцы. И девки даже. Вон Люська, например. Чем она хуже?

- Ну и что же? Думаешь, правильно это? Легко ей, девчонке, среди таких вот, как ты... бугаев?

- А что?

- Ничего! Правда, Люся хорошая, - говорит Желтых. - Довоевать бы, и дай ей бог счастья. Она стоит...

Мы все молчаливо соглашаемся. Кто из нас скажет хоть слово против Люси? Желтых затягивается, розовый огонек загорается и гаснет в его кулаке.

- В трудной жизни выросла. В нелегкий час. А это уж так: если жизнь в молодости перетрет хорошенько - будет человек, а заласкает - пропал ни за понюшку.

- Ну, это ты загибаешь, - говорит снизу Лешка. - При чем тут жизнь? Угождает она тебе, Люська, потому за нее и тянешь.

- Угождает! - злится Желтых. - Эх ты, голова еловая! Не знаешь ты ее. А я знаю. Откуда у нее это возьмется? У нее такого и в крови не было. Отец ее вон какой герой был! Орел! Революцию у нас на Кубани делал. Восемнадцать ран имел. Рано умер. А она у чужих людей росла. Думаешь, сладко было? Потому и такая... справедливая.

Задорожный, однако, из озорства или из упрямства не соглашается.

- Тебя тогда на Буге выручила, так уж и справедливая.

- А что ж, и выручила. Спасла. Молодец. Если бы не она, расстреляли бы ни за что. Дурное дело - не хитрое. Шпокнули бы - и все. Разве мало дураков еще есть? А так вот живу. Что значит вовремя вмешаться.

Луна потихоньку ползет в небе, на истоптанной земле шевелятся наши короткие тени; пахнет травой, разрытой землей, росистой свежестью дышит сонный простор.

- Такое не забудется. Долго будет помниться. До гроба, - прочувствованно продолжает Желтых. - Но и мы однажды ее выручили. Тут, видно, не все знают. Кто помоложе - не был. Кто с той поры остался? - оглядывая нас, спрашивает командир. - Попов - раз, ну Кривенок, остальные новички. Как-то под вечер нас перебросили на фланг, - затаившись, говорит Желтых и гасит о землю сигарку. - Стояли в вишеннике, я, помню, присел переобуться. Ребята окоп руют. Грязи - на каждом сапоге полпуда. И тут прибегают солдатик - так и так, мол: в хуторе немцы раненых окружили. Двадцать солдат и одна девка. Отбиваются, помогите. А до хутора километр с гаком. Слышим, стрельба усилилась. Не докопали мы окопа, бросили лопаты, автоматы в руки - и туда. А Попов зарядил оружие и давай палить. Один, а ловко так, брат, палил. Бежали мы и радовались.

- Снаряд туда стрелял, снаряд сюда стрелял, хату не задевал, - довольно усмехается в сумерках Попов.

- Ага, ладно приловчился. Около часа мы карабкались на бугор, а Попов все не допускал немцев. Подбежали, ударили, немцев отбросили - и в хату. А там пехотинцы, саперы и, глядим, Люся, раненная в ногу. Повытаскивали всех, потом кто как мог из-под огня выбирался. Люсю Кривенок выносил. Обхватила она его за шею, так и волок он девку через все поле. А минометы лупили - думал, пропадут оба. Но обошлось. Только я неделю боялся - а ну, думаю, комбат снаряды проверит. Попов чуть не все расстрелял. Хорошо, что танки нас тогда не потревожили.

- Было законно! - подтверждает Лешка и бесцеремонно врывается в наше приглушенное, по-ночному задумчивое настроение. - Вот у меня такое было, что ахнешь! В госпитале. Как родная стала, даже больше. Вот история...

И он со всеми подробностями начинает рассказывать нам "полтавскую

историю" о том, как встретила ему "изюминка-сестренка", и как доставала обмундирование, и как он, переодевшись, перелезал через забор и бежал к ней на окраину, и обо всем, что было дальше. Мы молча слушаем. От всех этих приключений отдает пошлятиной, хочется остановить его: "Неправда! Врешь ведь!" Но никто не перебивает Задорожного, все со скрытым любопытством слушают до конца.

Когда он на минуту умолкает, Желтых неопределенно побряхтывает, приподнимается на колени и всматривается в сторону неприятеля.

- Что-то очень тихо сегодня у фрицев, - говорит он. - И ракет нет.

Сменяются, что ли?

Действительно, почему-то сегодня они не пускают ракет. Это немного тревожит нас. Правда, пока все спокойно, очень мирно, и нам не хочется и думать о скверном.

Но вот вдали, со стороны траншеи, появляются люди. Кажется, их двое, и идут они не по тропке, а напрямик, полем. Еще через какое-то время мы различаем знакомый голос, от которого сразу умолкает Лешка, и все вдруг теряют интерес к его сказкам.

- Ну и что, артиллеристы? - звучит из темноты надтреснутый баритон нашего командира батальона капитана Процкого. - Дружно спите?

- Никак нет, товарищ капитан, - говорит Желтых и не торопясь, с достоинством поднимается навстречу.

Мы сидим, где сидели, только поворачиваемся к комбату и настораживаемся, знаем: так просто капитан не придет. И действительно, Процкий приближается к площадке огневой позиции, с обычной своей строгостью обращается к Желтых:

- Почему часового нет?

- Так мы все тут. Никто не спит, товарищ капитан, - поясняет командир.

Но это объяснение и особенно обращение "товарищ капитан" звучит как оправдание.

- Ага, все тут. А кто наблюдает за противником?

- Да вот все и наблюдаем...

- Гм!..

Капитан идет дальше вдоль окопа, рядом топает притихший Желтых, сзади следует молчаливый связной с автоматом, прижатым к груди. Возле пушки Процкий останавливается, о чем-то думает и спрашивает Желтых:

- Сколько вы тут сидите, на этой огневой?

Желтых переступает с ноги на ногу:

- На этой огневой? На этой мы, товарищ капитан, так с десятого или с двенадцатого - четыре дня, значит.

- И за четыре дня, старший сержант, вы не могли вырыть укрытия для орудия?

- Могли.

- Почему же не выкопали?

- Так приказа не было, товарищ капитан. Думали, еще куда перебросят. Все время перемещают, перебрасывают.

- "Перемещают"! - сердится капитан. - Вы что, первый день на войне?

Желтых молчит.

- Вы мне завтра уничтожьте пулемет, тот вон, крупнокалиберный, - Процкий тычет пальцем во тьму. - Десять снарядов вам на это и десять минут времени.

- Отсюда? - спрашивает Желтых.

- Откуда же еще?

- Отсюда нельзя. Тут нас накроют, товарищ капитан.

- Возможно. Если не окопаетесь как следует, могут и накрыть.

- Как тут окопаешься, если для блиндажа ни одного бревна нет, - начинает злиться старший сержант. - Все на соплях.

- Ищите.

- Что тут найдешь? - удивляется Желтых и, подумав, спрашивает: - А что,

с закрытой позиции нельзя? Вон гаубичники, дармоеды, ни разу за неделю не выстрелили... Вот им и дать бы задачу...

Но Процкий не такой командир, чтобы позволить уговорить себя и отказаться от принятого решения. Мы уже знаем его повадки, этого самого строгого из всех командиров в полку.

- Вы поняли задачу? - спрашивает Процкий.

Однако Желтых тоже с характером и, если разозлится, может показать свое упрямство даже перед высоким начальником.

- Что тут понимать! Досиделись!.. Пулемет вон три дня лупит оттуда. А так и пулемет не уничтожишь, и орудие погубишь. Тут же под самым носом. Надо подготовиться.

- Готовьтесь!

- Ага... Надо огневую сменить, окопаться как следует. Это не шутка. За ночь не сделаешь.

- Вот что! - обрывает его капитан уже категорическим тоном. - Мы не на базаре, товарищ старший сержант. В три ноль-ноль доложить о готовности.

Комбат поворачивается и уходит с огневой. За ним как тень следует связной, а Желтых молча стоит и смотрит им вслед. Рядом так же молча топчемся мы. Первым не выдерживает Задорожный, со злостью плюет в траву.

- Черт бы их там побрал, командиров этих. Попробуй стрельни! Немец тебе задаст такого, что за день трупы не пооткапываешь...

- Главная опасность - минометы, - в гнетущей тишине вздыхает Лукьянов.

- На водоразделе у них корректировочный пункт.

Желтых молчит, вслушивается в темноту, напряженно стараясь что-то понять и ни на кого не обращая внимания, будто не слышит, что говорят хлопцы. Потом, выругавшись, лезет в окоп, полминуты копается там и появляется с полевой сумкой на боку и автоматом на груди.

- Я быстро, - говорит Желтых. - Попов, остаешься старшим. Кривенко, за мной!

Кривенюк неторопливо встает, берет карабин и бредет за командиром.

Вдвоем они постепенно скрываются в лунном полумраке.

- К начарту пошел! - говорит Лешка. - Да что толку?

Начальник артиллерии давний знакомый Желтых, он уважает старшего сержанта и всегда считается с его мнением. Но кто знает, удастся ли на этот раз старшему сержанту добиться, чтобы отменили приказ командира батальона?

Хлопцы тоже забеспокоились, притихли и садятся на бруствере, как всегда в предчувствии беды, поближе друг к Другу. Теперь все мы добреем и как будто взрослеем. Лешка Задорожный и тот кажется в эту минуту вовсе не плохим парнем. Сразу отступает в прошлое все, что полчаса назад отравляло жизнь. Теперь мы чувствуем, что главное в нашей судьбе - завтрашнее испытание, и это незримой силой спланивает нас.

- Ему-то что! - зло говорит Задорожный. - Ему лишь бы приказать, а мы тут свои головы положим по-дурацки.

- Зачем так говоришь? Нехорошо говоришь! - отзывается из темноты Попов.

- Мы приданы пехоте... Должны стрелять...

- Ерунда! Приданы не проданы, а будешь выполнять все, что им вздумается, так и неделю головы не проносишь. А до Берлина еще вон сколько! Махать да махать!

- Почему не проносишь? В голове мозги есть - проносишь. Нет мозгов - потеряешь! - убежденно говорит Попов.

Лукьянов, кутаясь в шинель, задумчиво произносит:

- Что же поделаешь? Приказ есть приказ! Надо.

Задорожного, однако, не переубеждают никакие доводы, он поворачивается к Лукьянову и злобно возражает:

- Хе, приказ! Если приказ правильный, так я нутром его понимаю. А если нет, так ты мне ничем не докажешь, как ни крути.

- Зачем доказывать? - пожимает плечами Лукьянов. - Война - не

юриспруденция. Тут важен результат.

- Ох какой ты умный! - злится Задорожный. - Пруденция! Ты сказал бы это Процкому. Может, он тебя командиром поставил бы.

Лукьянов замолкает, видно, прикидывая, стоит ли продолжать разговор, а затем невесело вздыхает:

- Что с вами спорить не по существу!

- Подумаешь, нашелся мне по существу. Умник какой! Думаешь, я глупее тебя? Я, брат, хоть институтов не кончал, но и в плен не сдавался, как ты!

И в сумерках заметно, как, словно от боли, дергается бледное лицо Лукьянова, руки его беспомощно падают на колени, и он умолкает. Теперь уж надолго.

- Сволочь ты, Задорожный! - коротко, едва сдерживаясь, говорю я.

- Что? Сами вы сволочи.

Лешка откидывается на локоть и отворачивается: видно, наше к нему отношение не очень трогает его. И тогда с бруствера вскакивает Попов.

- Зачем так говорил? Нехорошо говорил, Лошка. (Он всегда зовет так Задорожного.) Лукьянов правильно говорил. Ты плохой товарищ.

Задорожный сопит и ругается:

- Пошли вы все к черту! Хорошо, плохо! Что я, извиняться должен? Вот поглядим, что завтра будет - хорошо или плохо.

- Дурной Лошка! Недобрый Лошка! Эх ты! - качает головой Попов.

Наконец-таки обозлившись, Задорожный вскакивает с бруствера, отходит в сторону и садится поодаль. Мы молчим, едва сдерживая неприязнь к нему, но забота поважнее отнимает у нас охоту сводить с ним мелочные счета.

В это время из-за вражеских холмов доносится глухой, будто подземный гул, словно где-то взбирается на крутизну танк. Прогудит - и утихнет.

Потом начинает снова. И так несколько раз.

Хлопцы невольно вслушиваются, мысленно стараются проникнуть в ночную даль и разгадать причину этого непонятного гула.



- Лозняк! - зовет меня Попов. - Часовой надо. Слушай надо. Сегодня что-то плохо там.

6

Повесив на плечо автомат, я хожу по огневой и всматриваюсь в сумеречное пространство поля. Луна взбирается все выше. Она уже неплохо светит своим несколько приплюснутым с одной стороны глазом: покойно мигают вверху редкие летние звезды. Не велика забота, если рядом не спят, ходить часовым и слушать, где что делается, да еще в такую лунную ночь, когда вокруг видно на добрых сто метров. Но вскоре новая обязанность начинает тяготить меня. Хочется присесть вместе со всеми на еще теплый с вечера бруствер и помолчать. Только потеряв это право, я начинаю чувствовать, как хорошо лежать на траве и смотреть в небо, на звезды и, отогнав прочь дурные предчувствия, думать о другой, прошлой жизни, о своей далекой родине, на которую теперь так же трепетно глядят из ночной бездны те же самые звезды...

Завтра нас ждет нелегкое. Хлопцы немного обленились за эту спокойную неделю, отвыкли от фронтовых невзгод и вот только теперь встревожились. Немного боязно и мне, немного тревожно. Оно и понятно. Хорошо, когда тихо вокруг, не надо напрягаться и ждать самого худшего из всего, что может произойти на войне. Только мне желать покоя нельзя. У меня особый счет к этим гадам, фашистам.

Уже второй год живет во мне неутихающая боль, она пересиливает обычную человеческую боязливость на войне и невыносимо жжет сердце. Я не знаю, что это - злость, ненависть или неутолимая жажда мести, только чувствую я, что

не будет мне облегчения и покоя, пока не уймется та горячая боль в груди.

И я уже не в силах искать чего-то легкого в жизни, я буду идти навстречу испытаниям и терпеть все до конца.

Случилось все это в осеннее утро на родной, далекой отсюда земле, возле небольшой витебской деревеньки, осевшей вдоль прифронтовой дороги.

Дорога была обычная, каких тысячи на земле: не очень ровная, не очень гладкая, но она вела на станцию, которую почему-то выбрали для своих разбойничьих дел немцы. Там разгружались эшелоны, и время от времени длинные колонны грузовиков, вездеходов и броневиков тянулись к фронту; была распутица. Шли нудные осенние дожди, и вражеские колеса прорезали на дороге две длинные и глубокие до коленей колеи...

По этим колеям мы, шестеро разведчиков, глухой октябрьской ночью пришли в деревню.

Зачем? О том знал наш командир Колька Буйневич, который и привел нас к одной хате. Пока он чем-то занимался там, мы стояли в охране за хлевом и на огороде под мокрой рябиной. Немцев в ту ночь в деревне, казалось, не было, большая колонна их под вечер проследовала к фронту. Было ветрено, холодно. Сырость пронизывала до костей. Деревня спала. И все же нашлись подлые люди, выследили, донесли. Мы обнаружили это поздно.

Начало светать. Отстреливаясь, мы бежали огородами, затем по дороге, ползли по глубоким, как раны, колеям. Гнались за нами с полсотни полицейских и немцев. Многие из них полегли еще в деревне, но перепало и нам. Остался в колее Вася Шумский, тяжело ранили Колю Буйневича, всадили пулю в бедро и мне. Хлопцы вытащили нас на пригорок, и мы притаились под огромным валуном в стороне от дороги. Думали, он станет нашим последним пристанищем. Но враги почему-то не побежали дальше, а, постреляв, вернулись в деревню.

У нас кончались патроны, а идти дальше днем было невозможно. Вокруг простиралось открытое поле, до леса далеко. Мы лежали под камнем в

ожидании сумерек.

В полдень деревня встревожилась. Немцы начали выгонять жителей на дорогу. Выгоняли всех: мужиков, женщин, детей. На окраине их выстроили в две длинные редкие шеренги. Затем скомандовали лечь в колеи. Над дорогой поднялся крик, плач, затрещали выстрелы. Люди ложились в грязь, в воду. А на другом конце деревни вытянулась и ждала колонна бронетранспортеров и вездеходов.

Потом машины двинулись по дороге. По тем самым колеям, в которых лежали люди.

Того, что вскоре началось, забыть нельзя. Мы то прикладывали к плечу, то снова убирали свои автоматы: было далеко, да и что мы могли сделать с полусотней патронов. Мы только смотрели. Рядом умирал Колька Буйневич, истекала кровью моя наспех перевязанная нога. Моросил мелкий дождь...

Затем горела деревня. Ревели коровы, кудахтали куры, визжали свиньи. Вокруг пожарищ бегали обезумевшие овцы и трещали автоматные очереди.

Вечером ребята перенесли нас через поле, и мы добрались до леса. Буйневича там закопали.

Я думал, что сойду с ума от боли и бессильной ярости. Зубами я рвал ночью ватник в лагерном госпитале, днем ругался с доктором Фрумкиным, который хотел мне отрезать ногу. Ни за что обижал сестру и товарищей. Хотел вскочить, взять автомат, но сил было мало, а нестерпимая боль в ноге не утихала. Тогда я решил умереть, и как можно скорее. Я не принимал пищу, выплевывал лекарства, не давался делать уколы. Доктор, видно, испугался за ногу, а еще больше за мой рассудок и отправил меня на аэродром.

В тихом тыловом госпитале мне стало лучше. Ногу не отняли, врачи обращались со мной душевно, будто понимали мои переживания. Постепенно заживала рана, и я обрел надежду вернуться на фронт. Я стал самым послушным больным, делал все, что мне предписывала медицина, принимал все лекарства, даже витамины, тренировал ногу, регулярно занимался лечебной

гимнастикой. Мне надо было вернуть силы и рассчитаться с врагом. Будто дразня меня, в госпитальной палате висел плакат с многозначительной надписью: "А ты отомстил врагу?"

И вот я на фронте. Правда, вскоре после того как я попал в часть, войска заняли оборону, жизнь на передовой стала скучной и однообразной. Но я не терял надежды, терпеливо ждал, верил, что мое время придет...

Кажется, от передовой кто-то движется - неясная тень мелькает в одном месте тропинки, потом в другом. Вглядевшись, я различаю человека, он быстро, чуть ли не бегом, направляется к нам.

- Стой! Кто идет? - привычно, с фронтовой настороженностью окликаю я, когда человек приближается, и жду.

- Свои, свои, мальчики! - слышится из лунного света, и от этого у меня снова прежней мучительно-радостной болью заходится сердце. Я поправляю ремень, пряжка которого вместе с диском сползла набок, набираю в грудь воздух, чуточку на правое ухо, как у Лешки, сдвигаю пилотку, и мои мысли направляются уже по иному пути.

Легкой, бесшумной походкой, будто ночная птица, Люся вскоре появляется возле огневой, минует окоп. Ребята вдруг оживляются. Лешка вскакивает и бросается навстречу.

- Люсик! Уже управилась? Молодчина! А мы тут ждали, ждали да все жданки съели, - радостной болтовней встречает он девушку. - Иди ко мне. Посиди немного, помечтаем о том о сем.

- Нет, мальчики, пойду, некогда. Спокойной вам ночи, - говорит она, и все во мне немо и настоятельно просит: "Останься, побудь". И в то же время я знаю, что не будет мне радости, если исполнится мое желание, но все равно я очень хочу, чтобы она осталась.

- Пойдешь? Отлично! Я провожу, - находит новую уловку Лешка и форсисто подсовывает под Люсин локоть руку. Но Люся отводит свою в сторону. - Если не против, конечно, и так далее. Не против же? Ну скажи правду?

- Не против, - смеется Люся. - Только без рук.

- Конечно! - с готовностью соглашается Лешка, но все же тихонько берет ее за плечи, и они по тропке идут в тыл.

Тогда с бруствера вскакивает Попов:

- Кто позволял? Товарищ Задорожный! Почему без разрешения?

- Ерунда, чего там! Пять минут, - слышится издалека.

Попов, видно не зная, что предпринять, неподвижно стоит на бруствере.

Поодаль, за кукурузными кучками, слышится сдержанный смех Люси.

Этот смех острой завистью пронизывает меня. Я понимаю, что Задорожный плохой солдат, что нельзя так, как он, не слушаться командиров, хотя бы и временных, таких, как Попов. Но мне начинает казаться, что это непослушание делает его более сильным, самостоятельным и смелым, чем я. И мне невольно хочется стать непослушным, как Лешка, обрести его независимость, его, пусть даже и не всегда разумную, решительность. Я подозреваю в Лешке какую-то властную силу над женщинами, и теперь, думается мне, все, о чем рассказывал Лешка, так именно и было. И еще кажется, что он нравится Люсе, нравится именно тем, чего не хватает мне или Кривенку, - грубоватой самоуверенностью и, конечно, мужской силой. И я завидую ему. Я знаю Лешкину жизнь (он никогда ничего не таит от других), знаю, что он бывший футболист, человек заносчивый и не совсем честный. Ему всегда по-своему везло в жизни, может, и не очень, но во всяком случае, больше, чем мне или Кривенку. Беды обычно обходили его стороной. Однажды, рассказывал он, еще до войны в Новороссийске компания таких же, как он, сорванцов с цементного завода поймала моряка и здорово избивала его широким флотским ремнем с бляхой. Бил Лешка, но когда моряки в отместку "сцапали" их в парке, то больше других влетело не Лешке, а его дружку Федьке.

Везло ему и потом, на войне. Попав под Воронежем на фронт, он, однако, не дошел до передовой, а каким-то случаем оказался в охране штабного генерала. Генерал не был строевым командиром и не очень любил разъезжать

по передовой, поэтому Задорожному вместе с пятью остальными, находившимися при нем, - двумя-ординарцами, шофером, поваром и парикмахером, оставалось думать только о бытовых удобствах и безопасности начальника. Это везение продолжалось до того несчастливого утра, когда генеральская машина случайно наскочила на противотанковую мину, оставленную немцами на обочине дороги. Одних похоронили, генерала отправили в Москву, а контуженный Лешка, прослонявшись недели две в тыловом госпитале, попал в стрелковый полк. Тут он для солидности назвался танкистом, но, поскольку танков в полку не было, его послали в противотанковую батарею. Чтобы таскать пушки, нужна сила, а Задорожный поднакопил ее на генеральских харчах. Сначала он немного задавался, не очень слушался Желтых, вовсе не признавал Попова, любил вспоминать: "мы с генералом ехали" или "мы с генералом беседовали", но мало-помалу обломался, стал тише. Тем более что Желтых не очень обращал внимания на его "генеральское" прошлое.

Молчаливая и тревожная ночь плывет над затаившейся, притихшей землей. Время, видно, уже переступило за полночь, ковш Большой Медведицы повернулся на хвост, луна забралась в самую высь и светит в полную силу. Под кукурузными кучками тихо лежат четкие тени. Порой кажется, будто что-то двигается там от кучки к кучке, взгляд невольно напрягается, но я знаю: сколько ни всматривайся, ничего не увидишь. Немцы молчат. Темные горбатые холмы, словно хребтовины распростертых на земле чудовищ, едва сереют на горизонте. Моторный гул незаметно утихает или, может, отдаляется, и ночную тишину нарушают лишь редкие случайные звуки.

Попов идет в окоп и, стуча там, что-то ищет. Лукьянов молчит с того времени, как ему нагрубил Лешка, и неподвижно сидит на бруствере.

Я не спеша хожу возле огневой и думаю о Люсе.

Вот она пошла с Лешкой, ей, видно, хорошо и весело с ним, иначе бы не смеялась она так озорно и счастливо, и этот ее смех непонятной болью вонзается в мою душу. Но я знаю: Люся очень хорошая девушка. Она так

внимательна, деликатна и ласкова со всеми - и знакомыми и незнакомыми, молодыми и старыми, что от всего этого заметно добреют наши давно огрубевшие души. И хотя она одинакова со всеми, но теплота ее ясных глаз как-то вселяет в меня надежду, что не очень уж плох и я, замковый Лозняк, что она мой друг, и для чего-то большего между нами недостает разве что пустяка, не высказанного еще. Все время кажется мне, что стоит только найти это невысказанное, определить его нужным словом, как все встанет на свое место. Но у меня не хватает решимости. И еще, трезво поразмыслив, я понимаю, что все же мало у меня того, что пришлось бы по душе этой девушке. Вот если б я был такой, как Задорожный...

Так я рассуждаю в тиши, и вдруг раскатистая очередь где-то в первой траншее пробуждает ночь; Стремительный пучок искристых трассеров резко мелькает над нейтралкой возле подбитого танка; несколько пуль рикошетом отскакивают от земли и молниями разлетаются в стороны. Над передовой взмывает ракета, доносится короткий выстрел, и в ослепительном свете возникают контуры брустверов, остова танка... Мне не видно отсюда, что там заметили пехотинцы, но их пулеметы начинают бить в ночь, к ним присоединяются автоматы, редко и солидно бахают винтовки.

Я подбегаю к Лукьянову. Из окопа выскакивает Попов, он насторожен, но, кажется, спокоен. Над передовой снова загораются две ракеты. Трассеры веером снуют над нейтральной полосой, скрещиваются и разлетаются в стороны. Немцы молчат, не отзываются ни единым выстрелом, и это еще более непонятно и странно.

- Надо идти в окоп. Не надо сидеть тут, - говорит Попов.

Мы с Лукьяновым неохотно подчиняемся. В окопе я задерживаюсь на ступеньках. Попов становится к оружию, мы слушаем, смотрим и ждем.

- Может, прикрывают разведку, - говорит Лукьянов. Его голос слегка дрожит, как при ознобе, хотя ночь теплая и тихая.

- Если бы своя разведка, не пускали бы ракет, - возражаю я.

Попов молчит. Он идет в угол, где лежат наши снаряды, вынимает нижний ящик и ставит ближе к станине. Я знаю, это он подготовил картечь.

Но переполох на передовой через некоторое время утихает, доносится чей-то голос, видно команда, и умолкают последние выстрелы. Ракеты еще взлетают в небо, и их далекий свет тусклыми отблесками блуждает по серому пространству разрытого поля.

- Поганый сволочь! - ругается Попов. - Гитлер в разведку ходил.

Мы втроем сходимся на площадке возле орудия. Лукьянов садится на станину, а мы с Поповым пристально всматриваемся в ночь.

Тут нас и застают Желтых и Кривенок.

## 7

Наш командир прибегает на огневую запыхавшийся и, кажется, расстроенный. Из первых же его слов мы чувствуем, что произошло нечто недоброе. Еще не добежав до орудия, он раздраженно и сипло кричит:

- Ну что! Где лопаты? Лозняк, ты? Давай сюда все лопаты, копать будем.

Живо! Слышите?

Схватив со ступенек первую попавшуюся лопату, командир в стороне от орудия начинает раскапывать землю.

- Лукьянов! Меряй отсюда восемь шагов и начинай. Где Задорожный?

- Задорожный пошел с Луся. Приказ не выполнял.

- Как пошел? Куда пошел? Ну, пусть придет! Разгильдяй! Бродяга! -

командир сердито сопит, разравнивая бруствер. - Лозняк! - снова зовет он меня. - Убери кукурузу. В сторону ее.

- А что, все же стрелять будем? - с затаенной тревогой спрашивает



Лукьянов.

Желтых удивляется:

- А то как же? Слышали, что делается? Немец проходы разминировал. Понял?

Лукьянов настороженно выпрямляется, притихает Попов. Удивленные, мы смотрим на нашего командира и ждем объяснений.

- Ну что рты разинули? - прикрикивает Желтых и перестает копать. -

Непонятно? Завтра поймете. Слышали - гудело?

- Слышали, - говорю я.

- Ну вот! Зря не гудит - запомните! - бросает Желтых и снова с яростью вгоняет в землю лопату. Он спешит прокопать широкую траншею - укрытие для пушки.

На какое-то время мы замираем в предчувствии беды, которая подступает все ближе. Но переживать некогда. Попов первый молча берет лопату. Беремся за дело и мы.

Дружно налегая на лопаты, мы во все стороны выбрасываем из ямы землю, времени до утра осталось мало, а выкопать надо много. Теперь мы понимаем, что завтра достанется всем: и пехоте, и гаубичникам, и нам, - делить тут нечего. - Значит, так! - сопя и откашливаясь, говорит командир. Он втыкает в бруствер лопату, снимает сумку, распоясывается и откидывает свое снаряжение дальше, к орудию. - Значит, так. Завтра перво-наперво на рассвете уничтожаем пулемет. Во что бы то ни стало! Командир полка приказал. Так что надо постараться.

Желтых плюет на ладони и снова яростно берется за работу. Рядом копает Лукьянов. Он как-то бережно ковыряет землю лопатой, подгребает и не спеша выносит на бруствер. После нескольких бросков земли лопатой отдыхает. Такая работа когда-то раздражала нас, Задорожный даже ругался, но потом мы присмотрелись и поняли, что этот слабосильный, болезненный человек иначе не может. Теперь мы привыкли к нему и не обращаем на это внимания. Попов, как всегда, делает самое сложное - ровняет скос в окопе, по которому

завтра придется закатывать орудие в укрытие. Он делает это старательно и хлопотливо, все копаются и копаются, согнувшись в темноте. Кривенок бросает землю рывками: то очень часто, с тупой яростью, то медленно, порой останавливается, вроде задумывается, и все оглядывается назад, в наш тыл. Я догадываюсь, что беспокоит его, но молчу. Но вот Кривенок выпрямляется и поворачивается ко мне:

- Слышишь? Давно была?

- С час назад, видно, - отвечаю я, понимая его с полуслова.

- Долго?

- Нет. Сразу пошла, и он за ней.

Кривенок умолкает и тоскливо поглядывает на тропку. Наш разговор, видно, слышит Лукьянов. Осторожно управляясь с лопатой, он говорит:

- Распустили его... Такого хлюста воспитывать надо. А у нас он на полной независимости.

- Ага, воспитаешь его! - глухо и устало отзывается Желтых. - Он всем воспитателям пальцы поотгрызает. Вот ушел - и нет! Ну, пусть только придет, дармоед, футболист чертов! Он у меня попомнит.

- Лошка сильный - хорошо! - скрежеща по дну лопатой, говорит Попов. - Лошка хитрый, Лошка упрямый - нехорошо. Морал читай многа - не надо. Так я думай.

- Я ему дам "морал", - сопит Желтых, - пусть только придет. Правда? - спрашивает он Кривенка.

- Не грозился б, а давно бы дал.

- Вот не выпадало. А тут не спущу! Ишь, прилип к девке! И Люська, гляди ты, не отошьет его.

- Люся ничего, - говорит Лукьянов. - Себя в обиду не даст. Она умная.

- Умная! - ядовито передразнивает Желтых. - При чем тут ум? Он вон какой бугай - на это гляди. А то - умная.

- Мне кажется, ничего особенного, - перестает копать Лукьянов. - Они

люди разных уровней. А это, безусловно, сдерживающий фактор.

Желтых неопределенно хмыкает, сморкается, потом выпрямляется и тут же прислоняется к стене укрытия.

- Ну и скажешь - фактор! Знаешь, у нас было дело на Кубани. Фельдшерица одна в станице жила, молодая, ничего себе с виду, образованная, конечно. И что ты думаешь? Приспичило девке замуж - и выскочила за нашего хохла. Тоже ничего был парень. А потом возгордился, как же - жена фельдшерица! Разбаловался, пить начал. И бил. Сколько она натерпелась от него! Извелась. Но что сделаешь. Дети по рукам и ногам связали. Вот тебе и фактор.

- Это, конечно, возможно, - подумав, говорит Лукьянов, - но нетипично. Женщина тоже выбирает. И куда более пристрастно, чем это делает мужчина. Особенно такой, как Задорожный.

Через час укрытие почти готово, остается только подчистить откос да прорезать узкую щель для ствола. В это время на огневой появляется Лешка. Он неслышно подходит к нам ленивым, медленным шагом и устало садится на свежий, только что выброшенный из ямы суглинок. Я первый замечаю его крутоплечую сильную фигуру, посеребренную лунным светом, и что-то недоброе, мстительное загорается во мне.

- Все же копаем? - спрашивает Задорожный с издевкой. - Ну и ну!

Ребята поворачиваются к нему и молчат, перестав копать. Один только Попов продолжает прорезать щель.

- Пришел, дармоед? - угрожающе начинает Желтых. - Где шлялся? Кто тебе разрешил? Мы что, ишаки, чтоб на тебя работать?

Но Задорожный не отвечает и не удивляется такой встрече; он улыбается, мне вблизи видно, как матово поблескивают при луне его широкие чистые зубы.

- Эхма! Ну что кричите? Что вы понимаете в высоких материях? - с невозмутимой иронией говорит он.

- Гляди ты! - почти кричит командир. - Он еще нас упрекает! А ну марш копать! Я тебе покажу бродяжничать всю ночь! Война тебе тут или погулянки?

Задорожный, однако, вовсе не обращает внимания на командирский крик, будто и не слышит его.

- Все ерунда, братцы! - каким-то убеждающим, спокойным тоном объявляет он. - Капитуляция. Была Люська - и накрылась. Законно!

Я не понял, что он сказал, но рядом вздрагивает Кривенюк, настораживается и зорко вглядывается в Лешку Лукьянов, даже Желтых и тот перестает кричать.

- Капитуляция! - смеется Задорожный, заметив наше удивление. - Гитлер капут и так далее! А деваха первый сорт. Свежинка! Побрыкалась!.. Да!..

- Подлец! - сипло бросает Желтых, и я мертвею, только теперь поняв смысл хвастовства Задорожного. Обида, злость и ненависть к нему охватывают меня. Пораженный, я стою с лопатой, не зная, что делать, кажется, кто-то из нас должен свернуть Задорожному шею. Но никто даже не двигается с места.

- Бери лопату и копай, негодяи! - с остатками затухающей злости приказывает Желтых.

Оттого, что он так быстро остыл и уже забыл о своих недавних угрозах, я готов возненавидеть его, я жажду Задорожному кары. Но тому хоть бы что. Он не спешит выполнить приказ, сидит на бруствере, лениво раздвинув колени, и луна тускло высвечивает его крутой лоб.

- Вот платочек на память, смотри! - бесстыже хвалится он. - Завтра опять придет. Специально. Ко мне. Хоть женись. Законно! Хе-хе!

Во мне вдруг вспыхивает какое-то слепое бешенство. Я подскакиваю к Задорожному и со всего размаху бью кулаками в лицо - раз, второй, третий.

- Ух! - вскрикивает Лешка и с удивительной ловкостью вскакивает на ноги. Пригнув по-бычьей голову, он сразу бросается на меня, ударяет головой в грудь, сбивает с ног и наваливается всем своим тяжелым, здоровенным

телом. У меня перехватывает дыхание, но бешенство придает силы, выкручиваясь, я стараюсь вырваться и еще садануть в эту самодовольную, сытую морду.

- Стойте! Стойте! - кричит над нами Желтых. - Взбесились, дурни!

Я изо всех сил пытаюсь вырваться, но Задорожный сильнее, он заламывает мне руки и бьет затылком о бруствер. Напрягшись, я в бешенстве скидываю ногами, дергаюсь, и мы оба скатываемся с бруствера в укрытие. Он снова набрасывается на меня, но я успеваю вскочить и встречаю его кулаками.

Нас тут же разнимают. Желтых, Попов и Кривенок хватают Задорожного сзади, отрывают от меня.

Запыхавшись и едва сдерживая бешено бьющееся сердце в груди, я выхожу на площадку и прислоняюсь к пушке.

- Драться! Сопляк! Сволочь! Салага! Я из тебя бифштекс сделаю! - также запыхавшись, гремит Задорожный, вырываясь из рук ребят.

Его уговаривает Попов:

- Лошка! Лошка! Не надо! Лошка! Зачем так?

- Какого дьявола! - с нарочитой строгостью в голосе сипит Желтых, стоя перед ним. - Ошалел, дурак! Опомнись!

Лукьянов, притихший и, кажется, удивленный, стоит в углу с лопатой в руках. В таких схватках он, конечно, не участвует.

Я, отдышавшись, молчу, едва превозмогая в себе обиду оттого, что мне больше, чем ему, перепало в этой драке. Потом начинаю работать. Подбираю со дна землю и думаю, что Задорожный - это еще не самое худшее. Во мне начинает расти-разрастаться жгучая ненависть к Люсе. Конечно, ничем она не обязана вам и вольна в своих поступках, но я убежден, что по отношению ко всем нам она поступила подло и достойна презрения. Она обманула самое светлое в нас, опозорила что-то дорогое в себе. И я не хочу теперь никому верить, хочу только кричать в ночь гадкие слова. Я ненавижу и его и ее: оба они встают передо мной одинаково мерзкие, гадкие и низкие.

Наконец укрытие готово. Попов тоже заканчивает свою работу. Мы выходим на площадку и сбрасываем в кучу лопаты. Желтых вынимает из кармана трофейные швейцарские часы, бережно застегивает на руке браслет и всматривается в зеленоватые цифры на черном циферблате.

- Так... Лозняк, Лукьянов, марш за завтраком. И живо! Скоро рассвет.

Лукьянов послушно собирает котелки, я навешиваю на себя автомат, и по узкой тропинке в траве мы идем в молчаливые тревожные сумерки.

Ночь на исходе.

Луна, опустившись, начинает меркнуть; белесая кисея облака, что с вечера висело на небосклоне, куда-то уплывает из просветлевшей сини; звезды вверху блестят несколько острее. Синеватые сумерки над холмами помалу сгущаются, восточная окраина хоть еще и темна, но уже брезжат на ней робкие отсветы далекого солнца, одна за другой гаснут низкие звезды. По земле блуждают, шевелятся неясные тени; полосы, пятна лунного света сонливо лежат на травянистом поле.

Я шагаю впереди по тропинке и со странным облегчением ощущаю в себе щемящую пустоту от чего-то потерянного, пережитого, что уже отступило и не волнует, только еще холодит внутри. У меня уже нет ни прежней зависти к Лешке, ни мучительного стремления к Люсе, через все это я уже перешагнул и, кажется, повзрослел, а может, и поумнел за одну эту ночь.

Мы идем молча. Тихонько поскрипывает дужка котелка. Лукьянов, как всегда, задумчивый и замкнутый. Я припоминаю, как недавно Лешка оскорбил его напоминанием о плене, а он смолчал, стерпел, перенес все в себе.

- Что вы ему по морде не дали тогда? - спрашиваю я, оглянувшись. -

Стоило.

Лукьянов вздыхает, потом спокойно отвечает:

- Вряд ли стоило. Не он первый, не он последний. Я уже привык.

- Ну и напрасно. Так он и будет цепляться, тиранить. Если сдачи не дать. Он такой.

- Никто человека не тиранит больше, чем он самого себя.

- Это если у человека совесть есть. А у Задорожного она и не ночевала.

- Нет, почему? - подумав, отвечает Лукьянов. - По-своему он прав.

Относительно, конечно. Да ведь в мире все относительно.

Мы снова молчим, не спеша идем и вслушиваемся в ночь.

Тропинка приводит нас к полосе подсолнуха, который серой неподвижной стеной дремлет в ночи. По ту сторону его, на дороге, слышатся солдатские голоса, где-то дальше, на тропинке, коротко вспыхивает искра от сигарки: оттуда доносится приглушенный смех. Хоть и война, всюду опасность, но, пока тихо, жизнь идет своим чередом.

Лукьянов плетется сзади, и в созерцательно-спокойном настроении его я угадываю тихий отзвук пережитых страданий, заметный душевный надлом. Это теперь мне близко и понятно, и я спрашиваю:

- Скажите, а как вы в плен попали?

Лукьянов с полминуты молчит, что-то думает, затем говорит:

- Очень просто. Под Харьковом, в сорок втором. Ранило. Потерял сознание, очнулся - кругом немцы. Ну, лагерь и все...

Я думаю, что Лукьянов скажет еще что-то, но он умолкает.

В одном месте мы натываемся на небольшую минную воронку. Лунный свет слабо высвечивает на тропке ее черное пятно со стабилизатором, торчащим в середине. Хотя мина уже и не опасна, но не хочется ступить в эту зловещую черноту. Я перескакиваю воронку. Лукьянов обходит ее стороной.

- Таково было начало моего конца, - вздыхает Лукьянов.

- Начало конца! - повторяю я, впервые пораженный парадоксальным смыслом этих двух обыкновенных, если их взять в отдельности, слов. - А потом что?

- Потом? Потом начался ад. Все лето закапывали противотанковые рвы на Украине. В сорок первом их накопили тысячи километров. А мы закапывали. Никому это не нужно было, но, видно, иной работы для нас не нашлось...

- Вы, кажется, до плена офицером были?

- лейтенантом. Командиром саперного взвода.

- Ну, а потом?

- А потом вот рядовой, - грустно улыбается Лукьянов.

Я не спрашиваю больше, понимаю, что его наказали, хотя не могу понять, почему человек, который столько перенес, должен еще и у нас нести наказание.

- Это, брат, так, - говорит он, идя рядом. - В войну мне страшно не повезло. Во всех отношениях.

Лукьянов замедляет шаг, вглядывается в сумеречную даль и озабоченно продолжает:

- Понимаете, что получилось. Отец мой Герой Советского Союза. А я вот неудачник, стыдно признаться.

Я настораживаюсь, слушаю. Он замечает это и доверительно объясняет:

- Отец - командир бригады. Между прочим, после плена я так и не написал ему. Не осмелился. Да и что напишешь? Правда, он мягкой души человек. Мать тоже. Ни денег, ни ласки не жалели. Кажется, и я неплохой был. Слушался, учился. В сорок первом из дому вместе пошли. Отец - на фронт, я - в училище. Мечтал о подвигах, об орденах. И вот как все дико обернулось.

- Да, это плохо. Война все!

- Война, конечно. Но не в одной войне дело, - возражает он. - Что-то и во мне сфальшивило. Я-то знаю...

Его беда чем-то подкупает, я верю, искренне сочувствую ему и хочу успокоить.



- Ну ничего. Еще не поздно. Может, звание восстановят. Быть бы живым. А на обиды вы не обращайте внимания. Не все же в армии такие, как...  
Задорожный.

- Так-то оно так... Но я не о звании... Кстати, вы не очень верьте этому Задорожному, - переходит на другое Лукьянов. - Он трепло. Набрешет с три короба, а на деле ничего и не было. Таких много среди нашего брата.

Эти слова сначала удивляют, а потом вдруг неожиданно обнадеживают меня. Я даже останавливаюсь, и у меня невольно вырывается:

- Правда?

- Ну а вы как думали? Люся отличная девушка. Не может она... И вообще много наших бед оттого, что мы не доверяем женщине. Мало уважаем ее. А ведь в ней - святость материнства. Мудрость веков. Она антагонист бесчеловечности, потому что она мать. Она много выстрадала. Страдания выкристаллизовали ее душу. И правильно сказал Желтых; жизнь, муки и терзания делают человека человеком. Человек не перестрадавший - трава.

Навстречу молча бредут пехотинцы, нося на передовую ранний завтрак. Часом позже тут уже не пройдешь, кто опоздает, будет голодать до вечера. Мы всматриваемся в их невыразительные при луне лица, но знакомых нет.

- Мы не опоздали, хлопцы? - спрашиваю я.

- Нет. Только давать начали. Мы вот первые, - охотно отвечает пехотинец с термосом на спине.

Мы сворачиваем на траву и расходимся. Лукьянов идет рядом со мной. Видно, я своим любопытством задел в нем какую-то давно молчавшую струну, которая звучала теперь искренне и надолго.

- Страдания, переживания... - в раздумье говорит он и с внезапным оживлением продолжает: - Я вам скажу. Я долго ошибался, кое-чего не понимал. Плен научил меня многому. В плену человек сразу сбрасывает с себя все наносное. Остается только его сущность - вера, совесть, человечность. А если у человека не было этого, в плену он становится животным. Я

насмотрелся всего. Когда-то думал: они, немцы, дали человечеству Баха, Гете, Шиллера, Энгельса. На их земле вырос Маркс. И вдруг - Гитлер! Гитлер сделал их подлецами. Это страшно: без веры или из-за корысти продать свою душу дьяволу. Это хуже гибели. В лагере у нас был Курт из батальона охраны. Мы иногда беседовали с ним. Он ненавидел Гитлера. Но он боялся. И больше всего - фронта. И вот этот человек, ненавидя фашизм, покорно служил ему. Стрелял. Бил. Кричал. Потом, правда, повесился. В туалете. На ремне от карабина.

- Чего уж ждать от фашистов, - говорю я, - если вот и наши... Сколько набралось власовцев, полицейских...

- Трусость и корысть не могут не погубить, - с необычным для него запалом говорит Лукьянов. - Не победив в себе раба и труса, не победишь врага. Да-да. Это вопрос жизни и вопрос истории!

Помолчав немного, он уже веселее добавляет:

- А за Люсю не переживай. Она славная девушка. Так мне кажется. Эх, если бы не война!

И я вдруг чувствую, что, как никогда, верю ему. Он сбрасывает с меня невидимый груз страданий и приоткрывает светлую желанную надежду. Странно даже, какой силой обладают обыкновенные дружеские слова, сказанные вовремя. Почему-то не могу сообразить теперь, как я не понимал этого с самого начала, как мог так легко поверить этому болтуну Лешке. У меня вдруг становится легко и светло на душе.

- Да, Люся славная. Он болтун, - соглашаюсь я, и мне мучительно больно от мысли, что еще совсем недавно я готов был оскорбить эту ни в чем не повинную девушку. - Давай, брат, быстрее, кабы не опоздать! Светает, - повеселев, говорю я, и мы, ускорив шаг, идем вдоль подсолнухов к деревне, куда ночью приезжает наша батальонная кухня.

Начинает светать. На небосклоне все шире разливается зеленоватый отблеск далекого солнца, быстро гаснут и без того редкие звезды. Луна в вышине окончательно меркнет и сиротливо висит над посветлевшим простором.

На земле исчезают резкие тени, не спеша, но уверенно выступают из сумерек серые окрестности - травянистое, перекопанное войной поле, столбы на дороге, узкая полоска подсолнуха.

Торопливо и молча завтракаем.

Мы чувствуем, что это последние спокойные минуты, и стараемся подольше растянуть их: выскребаем котелки и тщательно облизываем ложки. Но все же внутри каждого из нас неотвратимо поднимается дрожащая, как озноб, тревога.

Один только Желтых не медлит. Он первый доедает приправленную тушенкой мамалыгу, засовывает в карман оставшийся кусок хлеба и, даже не закурив, начинает собираться к комбату. Вид у него при этом настолько буднично-обычный, что кажется, будто этот колхозный дядька и не подозревает, что может постичь нас через несколько минут. Дожевывая завтрак, он вешает на шею бинокль, привычно закидывает за плечо автомат, глубже надвигает на голову помятую, выбеленную солнцем пилотку, которая всегда приплюснуто сидит на нем от уха до уха.

Обмундировка у командира, далеко не новая, обычная БУ, все остальное, что определяет в нем артиллериста, досмотрено, прилажено и носится даже с некоторым шиком. Узенький ремешок старенького, с выщербленным окуляром бинокля подтянут на шее петелькой. К сержантской полевой сумке с наставлениями, дисциплинарным уставом, бритвой и разной солдатской мелочью, как и надлежит начальству, приторочен за ушки компас. Под утро

Желтых обычно надевает свой промасленный, выдавший виды бушлат с помятыми погонами и блестящей самоделкой на рукаве - перекрещенными стволами орудий. Это эмблема истребителей танков. Сапог он никогда не носит, говорит, что в них душно ногам, и ходит в ботинках с обмотками. Накручивает он их низенько - на ладонь от ботинок.

- Кривенок, разбуди Попова, - приказывает старший сержант. - Я к комбату.

Кривенок, кажется, безразличный ко всему, что ждет нас, расслабленно встает и развалистой походкой идет будить наводчика, которого Желтых перед рассветом уложил спать. Попов, конечно, не выспался за этот час. Разбуженный, он минуту сидит на земле и, пожевывая, невидящими глазами смотрит перед собой.

Из-за вражеских холмов снова доносится зловещий гул танков. На этот раз гудит ближе, начинает даже казаться, что танки идут сюда, прямо на нас. Мы встревоженно всматриваемся в сторону врага, но увидеть там еще ничего нельзя. Этот гул, видимо, окончательно пробуждает Попова. Наводчик встает на колени, подпоясывается, берет свой котелок с завтраком и, поглядывая на сумеречные холмы, идет к пушке.

- Все же что-то они готовят сегодня, - говорит Лукьянов и берется за автомат.

Мы с Кривенком также берем оружие и занимаем свои боевые места. Возле разостланной палатки с остатками завтрака остается один Задорожный.

Какое-то время мы молча сидим на станинах, и по мере того как светлеет, выплывает из сумерек знакомое пространство, усиливается и наше волнение. Кривенок свертывает неровную, толстую в середине сигарку и прикуривает от зажигалки. Лукьянов надевает шинель и спокойно пристраивается на снаряжном ящике. Как всегда, на рассвете его начинает трясти малярия. На его худом, увядшем лице с глубокими морщинами вокруг рта - выражение терпеливой покорности. Лешка, злой и безразличный ко всему, сидит не шевелясь, и эта

не свойственная ему сосредоточенность выдает его тревогу. Один только Попов, еще сонный, без всяких признаков беспокойства, старательно выскребает из котелка кашу и узкими глазами на приплюснутом лице то и дело поглядывает вдаль.

Мы полны тревожного ожидания. Каждый сосредоточен, говорить не хочется, слова теперь потеряли свое значение. Бойцы насторожились и ждут того самого часа, когда для каждого из нас может решиться все. И тут каким-то очень обыденным и потому странным голосом отзывается Попов:

- Соли мало.

- Что?

Все поворачиваются к наводчику, удивленные его словами, а тот по-прежнему невозмутимо бросает:

- Каше мало соли.

Никто ему не отвечает: до соли ль теперь!

И вот в поле появляется наш командир. Он бежит от КП напрямик, и то, что он спешит, еще больше настораживает нас. Я становлюсь за щитом на колени и делаю первое, что мне нужно сделать перед стрельбой, - открываю затвор. Поворот туговатой рукоятки, и клин опускается, можно заряжать. (Правда, заряжать еще рано, но мне невтерпеж бездействие.)

Желтых, наверное, издали замечает нашу гнетущую настороженность и, чтобы рассеять ее, кричит:

- Ну, мальцы-удальцы! Пальнем сейчас! С первого снаряда - цель, и спать до вечера!

- Как раз! - бросает Лешка и вскакивает. - Поспишь тут! - Он выходит на площадку, как-то бережно неся перед собой большие, коричневые от загара руки. Желтых соскакивает с невысокого бруствера, занимает свое боевое место слева, позади пушки, в широком орудийном укрытии.

- Ничего. Не впервой! Держитесь за землю-матушку, она выручит, - спокойно говорит он и вскидывает бинокль. - Так!.. Нет, еще немножко

пождем. А ну, садись!

Встав на колени, мы занимаем свои места: Попов у прицела, я справа от него, за щитом. Меж станин устраивается Задорожный, за ним, возле снарядных ящиков, - Кривенок и Лукьянов.

Желтых время от времени смотрит в бинокль, одним глазом прижимается к прицелу Попов... Мы понимаем, что вступаем в поединок, исход которого будет решаться тем, кто опередит. Если чуть замешкаемся и немцы засекут нас на открытой позиции, придется туго.

- Попов, наводить под нижний обрез, - распоряжается Желтых, уже не отрываясь от бинокля. - Та-ак... Зарядить! - спокойно, с чуть-чуть излишней строгостью командует он.

Задорожный натренированным рывком вгоняет в патронник снаряд. Затвор, коротко лязгнув, закрывается. Попов прилипает к прицелу. Мы ждем затаив дыхание.

Последние минуты утренней тишины. Восточная половина неба за нашими спинами наливается отсветом невидимого, но уже близкого солнца. Эти мгновения перед открытием огня особенно нестерпимы, ноют напряженные нервы - скорее, скорее! Но Желтых медлит, он спокоен и лучше нас знает, когда следует подать команду.

- А почему без каски? Где каска? - неожиданно раздается в тишине его строгий голос. Это он Попову, который сутулится за прицелом в сдвинутой на затылок пилотке. - Кривенок, каску!

Кривенок приносит из окопа видавшую виды, исцарапанную каску и нахлобучивает на голову наводчика. И вдруг, не успевает он отойти на свое место, где-то далеко, с немецкой стороны, раздается знакомое прерывистое "та-та-та-та". Одновременно что-то лязгает по краю щита, взвизгивает над головами и проносится дальше. Рядом на бруствере взлетает облачко пыли. Я инстинктивно пригибаюсь к казеннику. "Опоздали! Прозевали!" - мелькает мысль. Оглядываюсь: сзади низко склоняется Лешка, а за ним как-то боком,

опершись на локоть, опускается на землю Лукьянов. Из-под его пилотки на воротник распахнутой шинели и на дощатый снарядный ящик что-то часто капает. Лукьянов хватается рукой за голову и удивленно рассматривает ладонь - на ней кровь.

- Сволочи! - ругается Лешка.

К Лукьянову бросается Кривенок. Довольно спокойно он спрашивает:

- У кого пакет?

У меня в кармане перевязочный пакет, я бросаю его Кривенку и хочу сам подбежать туда, но команда Желтых останавливает меня.

- Стой, тихо! Прицел шесть, один снаряд, огонь!

Пули бьют по брустверу, брызжет в стороны земля, я передвигаю по линейке указатель отката, пригибаюсь. Тут, за казенником, немного спокойнее, чем на открытой площадке. Вся паша огневая курится пылью, разлетаются в стороны кукурузные стебли, лязгают по щиту пули. Что и говорить: неудача.

"Бах!!!" - неожиданно и резко бьет в уши выстрел. Пушка отскакивает назад, казенник выкидывает в песок горячую гильзу. Из ее узкой шейки струится дымок.

Я не вижу за щитом разрыва, но слышу далекое раскатистое "ках-х-х". В стволе уже новый снаряд, и Попов аккуратно и спокойно подкручивает маховики.

"Фить-фить! Чвик!.." - проносится рядом новая очередь.

"Быстрее! Быстрее!" - бьет в виски мысль. Я оглядываюсь. Лукьянов лежит на боку, и Кривенок, неумело раскручивая бинт, обвязывает его голову. Сквозь повязку проступает и расплзается бурое пятно крови.

"Бах!!!" - снова бьет наше орудие, и правое ухо глохнет, будто его заткнули ватой. Я торопливо вглядываюсь в указатель, откат как будто нормальный.

- Прицел семь! - с яростью командует Желтых.

Значит, недолет, надо еще пристреливать. Пулемет бьет длинными очередями, и это, видно, спасает нас, только первые пули попадают в огневую, остальные рассеиваются вокруг. Все мы жмемся к земле. Лешка лежит на боку, прижимая к груди снаряд, взгляды наши встречаются, и в его глазах я не нахожу враждебности. Мне тоже теперь не до злости - Люся и все, что связано с ней, отступает в давнее, далекое вчера.

Попов работает ловко и четко. Огневую сотрясает уже третий выстрел, и тотчас сзади кричит Желтых:

- Отметиться по разрыву!

Это излюбленный прием нашего командира. Есть определенные правила пристрелки прямой наводкой, но Желтых почти всегда пользуется только одним - отметкой по разрыву, этот способ еще ни разу не подвел нас. Попов, согнувшись, едва-едва, одними ладонями, касается маховичков наводки и нажимает кнопку спуска. Я выглядываю из-за щита: снаряд, подняв перед стволом пыль, уходит вдаль и рвется на холме.

- Верно! - радостно и сипло, что есть силы кричит Желтых. - Три снаряда, беглый огонь!

"Слава богу!" Спадает в душе тревожное напряжение. Попали, теперь - добить.

"Бах!" - гремит выстрел, пушка дергается, из казенника со звоном вылетает гильза. Лешка, встав на колени, досылает следующий снаряд, и через десять секунд снова: "Бах!"

На огневой - кислотоватый пороховой смрад, пыль. Шестая гильза звонко лязгает о предыдущие, и тут же желанная команда:

- В укрытие!

"Есть! Кажется, удачно! Еще немножко, еще..."

Мы все хватаемся за пушку. Я переползаю через: станину, вырываю из оси стопор, кто-то сзади выдергивает из земли сошник. Желтых хватается за левую станину. Припав к самой земле, налегаю на колесо, пушка трогается с



места. Попов, однако, опаздывает толкнуть левое колесо, орудие перекашивается на площадке, и Желтых зло кричит:

- Попов! Не зевай! Такую твою!..

На Попова командир кричит редко. Только в бою под огнем - тут он никого не щадит. Попов не обижается, как не обижаются никто из нас. В надвинутой на глаза каске он упирается коленями в землю, плечом в колесо, пушка трогается с места и, тяжело покачиваясь, идет в укрытие.

"Та-та-та-та!.." - стучит издали пулемет, но мы уже свернули станины. Я напрягаюсь так, что, кажется, разрывается от натуги грудь, и толкаю колесо обеими руками, пока пушка не начинает постепенно катиться сама. Бойцы и Желтых управляют станинами, и последним, стоя на коленях, вцепившись в правило, толкает сошники сразу похудевший, с окровавленной щекой Лукьянов.

## 10

И вот мы сидим в нашем узеньком обжитом окопчике и, довольные тем, что все обошлось, сдерживаем в груди бешено бьющиеся сердца. Несколько пулеметов постреливают по нашей позиции, сбивают с бруствера комья, и песок сыплется нам на головы. Над огневой в чистом утреннем воздухе космами висит пыль. Но крупнокалиберный пулемет молчит, а остальные нам тут не очень страшны.

- Хватились! - говорит Желтых и довольно смеется, наморщив заросшее за ночь щетиной лицо. - Все же одурачили - знай наших!

Потом, посерьезнев, командир спрашивает:

- Ну, как ты, Лукьянов? Терпеть можешь?

Лукьянов, склонив перевязанную голову, зябко кутается в шинель. Рана у него, видно, не очень страшная, он не стонет, не жалуется, только дрожит от малярии.

- Потерплю, - тихо говорит Лукьянов. - В санчасть же не выбраться.

- Не выбраться, - подтверждает командир. - Жди вечера.

Мы усаживаемся друг возле друга и внимательно вслушиваемся, что делается наверху. На нижней ступеньке Лешка, в руках у него перископ, и он то и дело тихонько высовывает его из-за бруствера. Пулеметы нам тут не страшны, но вот если ударят минометы, тогда придется плохо.

Но вскоре умолкают и пулеметы. Устанавливается тишина - ни звука, ни выстрела. Уже совсем рассвело, всходит солнце, и синева южного неба ярко сияет в потоках света. Первые солнечные лучи кладут свои еще холодные лапы на пыльные комья бруствера. Обманутый тишиной, где-то в вышине заявляет о себе жаворонок. Как нечто далекое и не сразу осмысленное, сыплется, сверху его извечная песня, а затем и сам он трепетным комочком появляется над нашим окопом. Желтых первый задирает голову, натянув сухую кожу на небритой шее, прищуривает немолодые глаза и искренне удивляется:

- Ого! Гляди ты - запел! И не боится! Вот же малявка...

Мы все смотрим вверх, молчим, и за эти несколько минут в наши сердца, наполненные столькими заботами и страхами, властно вторгается полузабытое ощущение природы и обычной человеческой жизни, далеко отодвинутое этим беспокойным утром. Так оно и остается в памяти - это никогда не дремлющее солдатское чувство близкой тревоги и дыхание мирной, уже позабытой жизни.

Об этом мы не говорим, но это чувствует каждый, разве что кроме Попова. Как только утихает стрельба, он начинает томиться без дела, потом снимает гимнастерку и принимается подстраивать жестяные полоски под погоны. Недавно ему присвоили звание ефрейтора, и Попов несколько дней все охорашивает свои лычки, из красного немецкого кабеля сделал канты, теперь принялся за металлические полоски-вкладыши. Желтых заметно добреет и с

горделивым чувством поглядывает на нас. Лешка по-прежнему невесел.

Кривенюк, склонив голову, возится со своим пулеметом.

- Комбат сказал - к награде представит всех. За пулемет. Получим по медальке, - говорит Желтых.

Получить медаль всегда приятно солдату (особенно тому, у кого еще ничего нет), только Желтых вряд ли мечтает об этом - вон у него сколько их на груди. Кривенюк да мне было бы весьма кстати по какой-нибудь награде на наши ничем не отмеченные гимнастерки, как, впрочем, и Лешке, который, кроме гвардейского значка, также ничего не имеет. Только Лешка недовольно поворачивает к командиру свою лобастую голову и говорит:

- Ерунда! Тут пока медали дождешься, пять раз закопают.

- Почему? - добродушно возражает Желтых. - Теперь оборона, это быстро делается. Командир дивизии подпишет, и готово. Даром только ругался вчера: ишь как здорово получилось, - и насмешливо добавляет: - Придет на свидание Люська, а ты уже награжден. Жених!

От этих слов командира у меня вдруг начинает тоскливо щемить в груди.

"Если он так говорит Лешке, то, видно, считает именно его достойным нашего санинструктора. Не сказал же он этого мне или Кривенюку, а именно Лешке. Значит, все же если ничего и не было, то могло быть у него с Люсей, неспроста такие намеки", - снова печально думаю я. Но Задорожный недовольно хмыкает:

- Нужна мне Люська... как собаке пятая лапа. Не таких видели.

Я не знаю, что и думать. Не поймешь сразу, то ли он притворяется, то ли говорит правду. Снова появляются вчерашние подозрения, противные и мучительные. Я стараюсь подавить их в своей душе.

- Хе, Люся! - иронически хмыкает Лешка. - Мы тут головы под пули подставляем, а она с тыловиками милуется. Тоже медаль зарабатывает. Капитан этот... Как его? Мелешкин. Давно она с ним крутит. Знаю я.

Капитан Мелешкин! Это такой красивый чернявый весельчак с усиками.

Действительно, однажды на марше я видел, как он ехал верхом на лошади возле санитарной повозки и все угощал чем-то девчат и Люсю тоже, а она уж очень счастливо смеялась тогда.

Уныние и раздраженность окончательно овладевают мной. Становится досадно на себя и на все на свете. Но где-то в глубине сама собой живет, не соглашается упрямая мысль: нет, не может она быть плохой, не может. Она не такая. А время идет. В окоп заглядывает солнце и начинает припекать. Плечи и туловище еще в тени, а головам жарко. Желтых, по-стариковски кряхтя, пересаживается к противоположной стене, в тень.

- Глади ты: молчат! Ни одной мины. Удивительно! - говорит он. - Ну, до вечера досидим, а там на новое место.

Попов надевает гимнастерку и любуется своей сегодняшней обновкой - погонами. Вся одежда на нем подогнана, пуговицы застегнуты, над правым карманчиком три узкие полоски-нашивки за ранения. Эти нашивки мало кто носит из нас, хотя многие были ранены, но у Попова они на месте. Как раз под ними рубиновой звездой краснеет орден. На одном зубчике эмаль выкрошилась, и он побелел, но привинчен орден заботливо - на красной суконной подкладке. Наводчик выглядит аккуратистом, сразу заметна склонность к военной службе, только вот звание маловато - ефрейтор. Но будь он сержантом, думается, его подчиненным пришлось бы несладко - характер у Попова тихий, но упрямый и въедливый. Особенно в мелочах.

- Ты, брат, теперь как генерал, - усмехается Желтых. - Знаешь что? Сделай и мне такие погончики. А? А то эти - будто из них черти веревки вили. После войны расплачусь. Приглашу тебя в гости из твоей Колымы...

- Зачем Колымы? Якутии! - чуть обиженно поправляет Попов.

- Ну из Якутии. У вас мерзлота, а у нас на Кубани фруктов, дынь, арбузов - завались. Накроем стол в садике, самовар раздуем. Поллитровку, конечно... Ну и остальное. Моя Дарья Емельяновна гостей любит! Всю жизнь бы принимала. Такой характер... Раздавим бутылочку, вспомянем, как под

Яссами кукурузу ели, в окопах сидели... Кстати, надо бы написать Дарьке, - вдруг вспоминает Желтых. - С самого Кировограда, пока фрицев до Молдавии гнали, так и не написал. Хлопцы, у кого газетка?

Бумаги у нас нет. В наступлении-то ее бывает много - разные там фрицевские блокнотики, записные книжечки с пружинками-скрепками по корешку, а теперь, кроме газеты, ничего - ни на курево, ни на письмо.

Попов вынимает из кармана аккуратно сложенный номер нашей дивизионки, и старший сержант начинает выбирать краешек с полем пошире. Попов дает ему химический карандаш, Желтых старательно его слюнявит и начинает что-то выводить пристроившись на одном колене.

- Так и напишем: Дарька, я жив, чего и тебе желаю. Маркел Иванович Желтых.

Он отрывает от газеты полоску и, видя наши любопытные взгляды, поясняет:

- А зачем много писать? Главное: жив. Остальное бабе неинтересно. Я вообще несколько раз собирался написать больше, да все некогда. Известна наша солдатская доля. Только карандаш послюнявишь - посыльный от комбата: "Желтых, пулемет уничтожить!" Пальнешь по пулемету - транспортер отогнать! Там немецкая пехота чуть не за грудки наших стрелков хватает. В нее пошлешь десяток снарядов. А еще танки. Сколько мороки с ними! Прочкий мне говорил однажды: "Ты - мой командующий артиллерией. И помни, чтобы никакой задержки у пехоты". Говорю: "Если я командующий, то почему не генерал?" - "А за генерала ты справился бы?" - спрашивает он. "Ого, еще как. Если командиром орудия справляюсь, то генералом и подавно. Было бы чем командовать!" - с затаенной гордостью хвалится Желтых и прячет в пилотку свое рекордное по краткости письмо.

Нам хорошо тут. Уходит в прошлое тревожная ночь, постепенно рассеивается страх. Кажется, все обошлось...

И именно в такой момент, когда расслабляется наше внимание, во

вражеской стороне что-то утробно и страшно взывает. Я еще не понимаю, что это, и только замечаю, как вздрагивает под шинелью Лукьянов. Маленькие глаза командира удивленно округляются, загораются и вдруг гаснут. Со ступеньки вниз на дно окопа падает Лешка, и тогда до сознания доходит смысл этого жуткого звука. Это где-то там, за вражескими холмами, разряжаются "скрипуны" - шестиствольные немецкие минометы. Едва только утихает их протяжный зловещий скрип, как из поднебесья обрушивается на нас пронзительный визг мин. Кажется, какая-то невидимая страшная сила низвергается на дрожащую землю. Я тычусь головой в колени Кривенка. Он падает на бок, сверху сыплется в окоп земля, бьет в уши - взрыв, второй, два сразу, три... Мы глохнем, задыхаемся в пыли, в песке и земле; пальцы хватаются за что-то в поисках опоры. Земля будто разверзается от грозового урагана взрывов и дергается, стонет, дрожит, отчаянно сопротивляясь страшной силе разрушения.

Так мучительно медленно тянется время, все вокруг рвется, разлетается вдребезги; утро темнеет, будто на землю опять надвинулась ночь. Во рту, в глазах, ушах - лесок и земля. Тело болезненно ноет от неослабного напряжения и каждого близкого взрыва. Все существо с ужасом ждет: конец, конец! Вот-вот... этот! Нет... этот! Вверху воет, скулит, падает. Земля перемешивается с небом, все вокруг во власти безвольного оцепенения. И вдруг сбоку слышится крик:

- Попов! Прицел, так твою!..

Это Желтых. Кто-то, больно наскочив на мои ноги, вылетает в конец окопа. Я открываю глаза - на оружейной площадке в дыму мелькает согнутая спина Попова. Возле меня шевелится в земле Лешка. Кричит и ругается Желтых, но взрывы и визг заглушают его. Еще вспышка - удар! На нас снова обрушивается земля. Желтых падает. В облаках пыли кто-то опять переваливается через меня - Попов! Под его неподпоясанной гимнастеркой прицел, наводчик придерживает его рукой. В ту же минуту раздается еще один

взрыв по другую сторону окопа. В лицо бьет пороховым смрадом и комьями земли. Я падаю на чьи-то засыпанные по шею плечи и напрягаюсь, чтобы выдержать...

Неизвестно, сколько мы лежим так, заваленные землей, оглушенные...

Но вот немцы переносят огонь дальше, становятся глуше взрывы, и первым с сиплой бранью выкарабкивается из земли Желтых. Вверху, однако, по-прежнему скулит и воет. "Скрипуны" за холмами, задыхаясь, бешено ревут, земля разрывается; небо над ними почернело от пыли и дыма. Но разрывы постепенно отдаляются, и тугие комья перестают молотить наши спины.

"Выжили! Уцелели!" - вспыхивает слабенькая, готовая вот-вот погаснуть радость. Отплевываясь и моргая, я выгребаясь из-под земли. Потный, страшный, серый от пыли Желтых долго не может выбраться из окопа, затем встает на колени. Слабо шевелится в углу Лукьянов, отряхивается рядом Кривенок. Кажется, все целы - нам повезло. И в то мгновение, когда я думаю об этом, рядом с диким испугом вскрикивает Лешка:

- Командир! Танки!!!

## 11

- Т-т-танки! Т-т-танки! Гляди! - заикаясь, кричит Лешка, то высовываясь из окопа, то снова приседая.

Смысл этой тревожной вести будто кинжалом пронзает сознание. Я вскакиваю, выглядываю из-за развороченного бруствера - по склону холма вниз в дымном грохоте быстро катится косяк рыжевато-серых немецких танков.

Рядом со мной, часто моргая запорошенными песком глазами, на мгновение замирает Желтых. Будто не веря, приоткрыв рот, он несколько секунд смотрит

на танки и выбегает из окопа. За ним по ступенькам вылетает Попов, потом я. Сзади бегут остальные.

Пригнувшись, через взрытую минами площадку мы бросаемся к пушке.

Я цепляюсь за станины, сошники хватает Кривенок. Желтых с Поповым упираются в колеса. Пушка движется, но укрытие завалено комьями земли, и она идет боком. Желтых ругается:

- А ну поворачивай! Станину поворачивай!.. Лозняк? Такую твою...

Я и сам знаю, что надо поворачивать, и напрягаюсь изо всех сил, но спешу, и все получается невпопад. Кое-как мы все же вытаскиваем пушку на площадку, заносим станины. Желтых, пригнувшись, кричит, командует, помогает затолкать пушку на место. Низко склоненное усатое лицо его в поту и грязи.

Танки бьют по пехоте, бьют, почти не останавливаясь. В воздухе гремит и грохочет, поднебесье стонет, тяжелый железный гул ползет по земле. Мы бросаем станины. Я хватаюсь за стопоры, Задорожный сзади так рвет правило, что чуть не сбивает меня с ног. Левой рукой я открываю затвор, а Желтых вгоняет в ствол бронебойный.

Танки на передней траншее. Я быстро выглядываю из-за щита. Один горит, видно подожженный пехотой, другой мчится почему-то вдоль траншеи. Несколько пехотинцев бегут, согнувшись, по полю в тыл. Желтых что-то кричит. Попов впивается в прицел, и вскоре резкий выстрел бронебойным глушит нас. Пушка подскакивает, больно толкает в плечо, я падаю: ребята не успели упереть в землю станины.

- Сошники! - кричит Желтых, низко пригнувшись за наводчиком, и кулаком толкает в спину Кривенка. Тот хватается сошник и начинает его загонять в ямку. Второй сошник, стоя на коленях, втискивает в землю ослабевший Лукьянов. Крикливая властность Желтых, как ни странно, успокаивает. Кажется, если командир здесь, плохого не случится, он учтет все, скомандует, спасет, нам - только повиноваться.



"Трах!" - бьет второй выстрел. Еле заметный красный огонек трассера мелькает возле танка, щелкает о броню и отскакивает высоко в сторону.

- Огонь! Огонь! Не медли, огонь!

"Гах!.. Гах!.. Гах!.." - бьет пушка, подпрыгивая на колесах. Трассеры не все заметны - некоторые снаряды бесследно исчезают вдали. Танки от первой траншеи, направляясь вдоль дороги, один за другим ползут по нашей обороне. На их бортах видны черно-белые кресты. Поднимая тучи пыли, машины тяжело переваливаются через брустверы. Длинные их пушки угрожающе покачиваются, грохочут выстрелами.

- Огонь! - ревет Желтых. - Наводить лучше!

Попов молодчина, наш хороший Попов! Он, пожалуй, единственный тут, кому чужды и страх, и волнение. Он не спешит, не дрожит, теперь он ничего на свете не знает, кроме танка.

"Гах! Гах!" - дергается пушечка.

"Так, держись, Лозняк! Кажется, наступает твой час, - говорю я себе. - Ну, идите же, гады, идите! Ближе! Еще ближе!"

Да, они идут. Уже перешли траншеи пехоты... Но что это? В сплошном грохоте с бессильной яростью снова кричит Желтых:

- Не берет! Дьявол им в глотку! Бей по гусеницам, по гусеницам огонь!

Не берет. Я тоже чувствую это.

"Гах!" - подпрыгивает пушечка, стремительная искорка трассера гибкой стрелой мелькает вдали, бьет в башню танка и отскакивает в сторону. Не берет! Немцы, видно, пустили на нас тяжелые танки. Может, это их "тигры"?

Пехота наша рассеяна, вслед за танками идут немцы. Наши уходят. Недалеко от огневой, низко пригнувшись к земле, обессиленно бредет сержант с потным красным лицом. Одной рукой он тащит пулемет, другая, будто палка, свисает до самой земли. За ним, то и дело оглядываясь, бежит невысокий боец с патронными ящиками в руках. Кажется, это тот наш ночной знакомый с термосом.

- Стойте! - кричит им Желтых. - Стой, куда удираешь, сволочь!

Расстреляю! Стой!

Сержант кричит что-то в ответ, но нам ничего не слышно, тогда он, присев, тычет рукой в сторону дороги. Желтых оглядывается, приседает от неожиданности и ругает уже неизвестно кого.

- Станины влево! - командует он.

Танки прорвались, обходят и быстро несутся вдоль дороги к деревне, в наш тыл...

Мы заносим станины в сторону. Попов обеими руками подкручивает маховики наводки. "Гах! Гах!" - гремят частые наши выстрелы, и коротко позванивают под ногами пустые гильзы. Хлопцы притихли, прижались к земле. Это плохо! "Держись! Как-нибудь держись, - заставляю я себя. - У тебя нет права бояться, трусить. У тебя один выход - драться!"

- Ага! - наконец злорадно вскрикивает Желтых. - Один есть! Огонь!

Попов! Огонь!

Не выдержав, я выглядываю из-за щита, и мгновенная радость охватывает меня. Вот стоит он, уронив ствол орудия, в борту торчит откиннутая крышка люка. Рядом останавливается второй. Он чуть медлит, потом поворачивается в нашу сторону, и я понимаю - заметил! "Заметил, теперь достанется!" - мелькает в сознании, и сразу же перед огневой сверкает черная молния. Пыль и смрад накрывают огневую. Тотчас раздается встревоженный крик Попова:

- Кукуруз!.. Командир, кукуруз!..

Танк за кукурузной кучей, она мешает стрелять. Надо разбросать ее, но тут снова удар... Тугая пробка забивает уши... Легкие задыхаются от тротиловой горечи и пыльного удушья.

- Так. Ничего, - глухо успокаивает кого-то командир.

Чувство реальности обострено. Внимание предельное. Мысль работает быстро и четко. Я понимаю, что надо бежать навстречу танку, но неподвластная мне тяжесть свинцом наливает ноги. Ненавидя себя, я медленно

приподнимаюсь из-за щита, а танк, крутнувшись на одной гусенице, сворачивает с дороги и вдруг направляется сюда, покачивая перед собой длиннющим хоботом пушки. Сейчас она снова выстрелит... Сейчас! Сейчас! Во мне все напрягается - переждать выстрел, затем... Но в это время сзади раздается команда!

- Лукьянов, убраться!

Лукьянов! Сразу спадает напряжение. Пойдет Лукьянов. Конечно, командиру лучше видно, кого выбрать. Назад ему уже возврата не будет.

Вобрав голову в плечи, я жду. Лукьянов в расстегнутой шинели встает из-за ящиков, почему-то оглядывается. В его глазах такая тоска, что кажется, струсит, откажется. Но он не отказывается, только несколько медлит, а потом влезает на бруствер и, пригнувшись, расслабленно бежит к куче. Там он хватает с земли охапку, затем вторую, разбрасывает кукурузу в стороны. Куча уменьшается, но танк - вот он, рядом!..

И тут - трах!

Пыль, песок бьют в глаза, в ушах звон, острая короткая боль...

Через мгновение я вскакиваю. Сквозь редкие клубы пыли, словно ослепленный, почему-то медленно, наклонившись и спотыкаясь, бредет Лукьянов. В десяти шагах от него горячо курится воронка...

- Огонь! - басовито ревет сзади Желтых, а во мне все холодеет. Какая-то полусознанная вина перед Лукьяновым заставляет меня вскочить на бруствер. Будто издали долетает строгий крик командира: "Стой! Назад!" - но я в три прыжка подбегаю к Лукьянову и хватаю его под мышки.

Задыхаясь, я волоку к огневой тяжелое тело друга. Навстречу, пахнув в грудь горячей тугой волной, бьет по танку Попов. В тот же момент где-то совсем черный, огненный блеск и - удар! Я падаю, больно ударившись плечом о землю. Не знаю, цел или ранен, вскакиваю и снова хватаю Лукьянова. Танк - вот он! Тяжеленная его громадина ползет все быстрее. Прогибается, дрожит земля, бешено мелькают траки, неудержимо надвигается на нас его широкая

стальная грудь.

Разгребая сапогами песок, я переваливаю через бруствер Лукьянова и вместе с ним падаю под колеса пушки. Несколько пуль вдогонку хлестко щелкают в щит и рикошетом отлетают в стороны. В окопе строчит пулемет - это Кривенок бьет по пехоте. Командир с Задорожным лежат меж станин. Возле прицела один Попов... Но почему смолк Желтых? Почему не командует, не двигается? Привалился плечом к станине и молчит. На коленях я бросаюсь к нему. Сзади гахает выстрел. Пушка, словно живая, вздрагивает, по спине больно бьет гильза. Хватаю командира за плечо, он сползает со станины-наземь. Струя теплой крови откуда-то из горла брызжет мне в лицо, фонтаном обдаёт спину Задорожного. Я припадаю к земле, нащупываю и зажимаю под расстегнутым воротником Желтых небольшую ранку. Но кровь все равно прорывается и брызжет вокруг. Побледневшие веки Желтых непрерывно вздрагивают, взгляд тухнет, и зрачки закатываются. Он не узнает меня.

- Командир! - слышится рядом хриплый запоздавший голос Задорожного. - Хлопцы, командира убило...

Этот истошный выкрик потрясает и меня. Несколько секунд я лежу на земле, всем телом ощущая ее непрерывную дрожь... Танка я не вижу, но чувствую: он в нескольких шагах от нас. Я в оцепенении жду: сейчас все будет кончено. И тогда, оторвавшись от прицела, оборачивается к нам Попов.

- Заряжай, Лошка! Собака, заряжай!

Пушка молчит. В окопе трещит, захлебывается пулемет Кривенка. Задорожный гребет пальцами землю и жметя под бруствер. В бешенстве от предчувствия неотвратимой гибели я толкаю Задорожного сапогом в бок, кричу:

- Заряжай, сволочь!

Он боком, как рак, медленно переползает к ящикам. Я, оторвавшись от командира, сам хватаю снаряд и окровавленными руками загоняю его в ствол. Из шеи Желтых снова вырывается тонкая струя, но тут же ослабевает и, когда

я снова подползаю к командиру, пропадает совсем.

Остекленевшие глаза Желтых останавливаются...

Кажется, все! Конец!

Я бросаюсь к снарядам - танк в пятидесяти шагах, не больше. Одной гусеницей он подминает под себя остатки кукурузной кучи и взмахивает в воздухе длиннющим стволом. Из-под его днища упруго бьют в землю струи дыма и пыли. Попов секунду медлит и вдруг снова вскакивает со станины. Грохает выстрел.

- В окоп... Быстро!

Сквозь пыль я успеваю заметить, как танк однобоко дергается вперед. Будто споткнувшись, с разгона клюет стволом в землю и замирает. Впереди острыми зубцами торчит направляющее колесо; гусеницы на нем нет. Танк стоит к нам бортом.

Подбили!

Но орудие его вдруг оживает. Скрипнув, описывает полукруг башня, и огромный танковый ствол направляется в нас. Попов, не целясь, крутит маховички паводки, и наш накаленный, короткий ствол с самоотверженной готовностью спешит навстречу.

"Быстрее! Быстрее!!!" - бьется во мне отчаянный крик. Ползком я пробираюсь к ящикам. Головами мы сталкиваемся в пыли с Лешкой. Стукнувшись, разлетаемся в стороны. К моим коленям падает его пилотка, в дрожащих его руках - снаряд. Сразу же лягает клин.

- Иди! - вскрикивает Попов. - Убегай!

С завидной ловкостью через меня в окоп кувырывается Лешка. Дульный тормоз танкового орудия, как-то судорожно дергаясь, опускается ниже, ниже... Это последнее, что я успеваю заметить, и на коленях, вниз головой бросаюсь за Лешкой.

Выстрел и взрыв гремят одновременно. Огромная глыба со стены нашего окопа обрушивается на мои плечи. Что-то колючим градом обдает затылок. Я,

кажется, гложу на несколько секунд и мертвею, полузакопанный...

Вдруг все умолкает. Становится неестественно тихо. Громовой грохот прекращается. Куда-то пропадают взрывы, лишь издали доносится гул танков и по-прежнему мелко дрожит земля. Я выгребаясь из земли и выскакиваю из обрушенного, разбитого окопа...

## 12

"Пропало все! Навсегда! Безвозвратно!.."

Первое, что бросается в глаза, - глубокая яма на краю нашей площадки. В эту яму одним колесом провалилось перекошенное орудие. Между станин неподвижно лежит засыпанный землей Желтых. Рядом - также весь в земле и пыли - сползает на лопатках с бруствера, очевидно, отброшенный туда взрывом Попов. Ни каски, ни пилотки на нем нет, грудь чем-то залита. Невидящим, бездумным взглядом наводчик смотрит в ту сторону, откуда полз на нас танк... Но почему же так тихо и где танк?

Я оглядываюсь и столбенею от странно смешавшегося во мне чувства радости, страха и удивления. Огромная пятнистая громадина танка, почти вперед в нас длинный ствол, неподвижно застыла на кукурузной куче, и густые языки пламени шипят и чадят над ее приземистой, круглой, свернутой набок башней.

Попов склоняется, стонет, поднимает руку, на ней вместо пальцев месиво кровавистой грязи. Он торопливо прижимает руку к груди, тихо, сквозь зубы мычит от боли и пробует остановить кровь, которая льется на колени, штаны, в сухую, жадную к влаге землю.

Я кладу на землю гранаты и хочу помочь ему, но Попов уже сам заматывает

руку подолом гимнастерки и раздраженно приказывает мне:

- Лозняк, огонь! Огонь!

Ага! Они идут-все дальше! Позади уже остались траншеи с ходами сообщений, где тянутся в небо три столба черного дыма. Рядом бешеным пламенем полыхает четвертый. Остальные вдоль узкой полоски подсолнуха направляются в деревню. То и дело останавливаясь, они бьют по разрушенной деревушке. Все стонет от частых гулких выстрелов. Издали слышно, как с коротким стремительным визгом проносятся болванки.

Я вгоняю в ствол бронебойный и хватаюсь за механизмы наводки. Пушечка вся ободрана осколками, склонилась набок, но еще послушна моим рукам. Я торопливо подвожу угольник прицела под срез какого-то танка и нажимаю спуск. Тугой резиновый наглазник больно бьет в бровь. Я не вижу, куда летит снаряд, и бросаюсь за следующим. Мельком кидаю взгляд на танк: верхний люк уже открыт. Из него высовывается рука в черной перчатке. Она слепо шарит по броне, старается уцепиться за крышку люка, срывается и снова шарит. Из окопа раздается короткая очередь - это Кривенюк, но я не вижу, что происходит дальше.

- Огонь! - строго требует Попов. - Прицел - больше два!

Я заряжаю, подкручиваю дистанционный барабанчик прицела, целюсь, стреляю и снова спешу за снарядом, Попов сидит обессиленный, крепко зажав подолом руку. Лицо его черно, глаза запали. Люк в танке по-прежнему раскрыт, но в нем уже никого не видно.

- Огонь! Лозняк! Огонь!

И я стреляю. В прицеле еще видны танки. Я с трудом успеваю хватать снаряды. Пот ядовитой солью слепит глаза, каплет с кончика носа на руки - утереться некогда. Я понимаю, что танки несут смерть, и бью в них.

Не знаю, сколько длится это. В моем сознании мелькают прицел, угольничек под танком, гром выстрела, потом гримаса напряжения и боли на упрямом лице Попова, его требовательное "Огонь!" и снаряды в ящиках. Я

мечусь, ползаю, гложу от выстрелов и, запыхавшись, часто дышу. Но вот, схватив маховичок наводки, я круто поворачиваю ствол, впиваюсь взглядом в прицел, только напрасно. Танки скрылись в вишенниках, подворьях, за развалинами румынских мазанок...

- Все! - говорю я и опускаю руки. - Все! Прорвались!

Я сажусь меж станин, прислоняюсь к казеннику. От него пышет жаром, но я не отстраняюсь. Я уже обессилел, оглох, в ушах гудит, перед глазами расплываются желтые, оранжевые, черные круги. Высокое солнце безжалостно палит с пропыленного, заволоченного дымом неба. В поле пусто, кое-где видны желтоватые в зеленой траве бугорки - это трупы. Вон лежит, раскинув ноги, лицом вниз, кажется, знакомый солдат-пулеметчик, который недавно бежал за своим командиром. Грудью он придавил патронные ящики, будто и мертвый не хочет выпустить их.

Мощный внезапный взрыв сотрясает землю. Над танком, выбросив в стороны ключья дымного пламени, подскакивает башня, коротко звякает сталь, и орудие дульным тормозом косо врезается в землю. Огонь с остервенелой яростью начинает пожирать резину катков, краску, залитую бензином землю. В воздухе кружат и оседают тлеющие хлопья ветоши.

Из окопа выползает Задорожный, высовывает голову Кривенок. Минуту мы осоловело глядим, как пламя уничтожает танк. Потом Задорожный вскрикивает:

- Сматываться! Давай скорей! Ну!

Вот когда исчезла у него всегдашняя нагловатая самоуверенность, вот и струсил он, этот наш хваленый смельчак. На его гладком лице испуг, глаза бегают, и он даже не пытается овладеть собой.

Мы, однако, молчим. Кривенок вытирает пилоткой лицо и спокойно спрашивает:

- Сколько снарядов у нас?

- Мало, - говорит Попов. - Мало.

Он все сжимает в подоле руку и смотрит на деревню. Мы выжидательно



поглядываем на него: теперь он наш командир.

- Ну, что молчите? - нервно выпаливает Лешка. - Попов, команду, ты же заместитель! Какого черта!..

Я оглядываюсь. Перед нами в окопах уже никого нет, но сзади, на участке соседнего полка, траншеи которого идут по взгорью, еще гремит бой, видно, как в густых клубках пыли там рвутся мины.

Из окопа выходит Кривенюк, молча склоняется над командиром, расстегивает его окровавленную гимнастерку и, помедлив, за руки оттаскивает в укрытие. Потом берет Лукьянова, тот еще тихо стонет.

- Давай, Лешка, завязывай рука, - говорит Попов и вытаскивает из подола кисть.

Лешка неохотно откладывает гранаты, берется перевязывать. Все время он оглядывается. Его чистый лоб прорезает изломанная морщина.

- Так давай сматываться, - обретая обычный свой тон, говорит Задорожный. - Пока не поздно...

- Нет, - говорит Попов, - приказ нету, не можно ходи.

- Чудак, - запальчиво удивляется Задорожный. - Какой тебе, к черту, приказ? Фронт прорвали...

- Приказ оборона был, приказ отступай не был. Стрелять надо.

- Одурел! Куда стрелять?

- Гитлер стрелять! Не знай, куда стрелять?

- Балда! - плюет Задорожный. - Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами.

- Чего кричишь? - с нескрываемой злостью говорю я ему. - Куда пойдешь?

- Как куда? Куда все!

- А пушка?

- Что "пушка"? Пушка подбита.

- Ну и что ж? Стреляет же...

- Идиоты! - искренне возмущается Лешка. - Голова и два уха - не больше.

Что же, по-вашему, сидеть тут до смерти?

В убежище выпрямляется во весь рост Кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости.

- Заткните ему рот! - кричит он. - Заткните! Или пусть идет к чертовой матери! На все четыре стороны! Ну?

Задорожный хмурится, исподлобья окидывает нас ненавидящим взглядом и бьет кулаком о землю.

- Ну, что ж! Пропадайте, черт с вами. Командир еще этот - балда...

Это оскорбление вдруг взрывает всегда спокойного Попова. Темные глаза его загораются злым блеском, весь он подается вперед, пригнувшись, останавливается перед Лешкой:

- Почему Попов балда? Говори, почему балда? Сам балда. Нельзя пушку бросай. Попов присяга давай. Желтых не удирай. Попов не удирай. Сволочь удирай. Молчи, Лошка!

Затем он несколько успокаивается, приказывает нам заровнять на огневой воронку и повернуть орудие стволом к дороге. Согнувшись, на коленях, мы выполняем его команду. Задорожный вытирает потное лицо и больше не затевает разговора об уходе, но все время оглядывается и о чем-то упрямо думает. Попов оставляет его наблюдать возле орудия и зовет меня в укрытие.

Тут возится Кривенок. Он поднимает на Попова недовольные холодные глаза и говорит:

- Командир уже отошел. Лукьянов кончается. Перевязал немного.

- Иди, пулемет гляди, - с гримасой боли на широком лице говорит Попов.

И когда тот выползает из укрытия, вздыхает: - Ах, ах, плохо!.. Очень плохо, товарищ командир! Ай-яй!..

Они лежат рядом на разостланной палатке - Желтых на спине, закинув кверху сухой щетинистый подбородок, Лукьянов с побелевшим лицом, до половины накрытый пропыленной шинелью. Оба они кажутся какими-то маленькими и странными в своей неподвижности. Я опускаюсь над ними.

- Команды?! Команды?! - горюет, присаживаясь рядом, наводчик. - На Днепре говорил погибай - жив оставался. На Мала Горка думай погибай - жив оставался. На деревня Ольховка погибай - жив оставался. Тут погибай, совсем погибай...

Глухой ко всему, старший сержант молчит. И я не могу себе представить, что никогда больше он ничего не скажет, не закричит, не обругает. Я сижу над ним, и в моей душе зарождается немой укор себе оттого, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Еще начинает казаться, что, может, это он из-за меня вынужден был подставить себя под пулю. Может, если бы он сзади не крикнул и я, вздрогнув, не уклонился, то пуля была б моей. А так вот меня она миновала, а настигла его.

А Лукьянов? Конечно, в его смерти есть косвенная моя вина. Побеги я к кукурузе минутой раньше, не ожидая приказа, он, видно, был бы цел, а то вот умирает на том месте, где мог лежать я. И уже не терзает его никто - ни Лешка, ни трудная его судьба, ни отец. Это странно и страшно - видеть лежащих бок о бок посланного на верную гибель и того, кто послал.

"О великая, слепая сила войны, - думаю я. - Неужели в этом нелепая твоя справедливость?" И тут я вспоминаю Люсю. Эх, Люся, Люся! Где ты теперь и знаешь ли, какая беда стряслась с нами?.. В моих оглохших ушах почему-то начинает явственно звучать ее милое "добрый день, мальчики!". Вот они лежат, ее мальчики, погибли - одни раньше, другие, видно, погибнут позже. А умирать так не хочется!

Горестно съежившись, наводчик сидит возле Желтых. Я вспоминаю, что в пилотке командира его неотправленное короткое письмо, и достаю этот клочок бумаги: "Дарья, я жив, чего и тебе желаю..."

"Сколько же прошло с той поры, как писались эти слова, а как непоправимо все изменилось! Ну вот, командир, остались без отца и твои дети. А в четверг комиссия..." - вспоминая, думаю я и поправляю

отброшенную в сторону руку Желтых. Но она снова медленно разгибается, и на запястье, будто в целом мире ничего не изменилось, по-прежнему деловито тикают трофейные швейцарские часы. Лицо командира кажется прежним, только, может быть, больше посинела пороховая сыпь на щеках да как-то гуще затопорщилась щетина. Веки его наполовину прикрыты, из-под них едва светятся неподвижные белки глаз.

- Закрой ему глаза, - говорит Попов. - Пусть спит...

Бережным прикосновением я закрываю командиру глаза, и вдруг приступ отчаяния овладевает мной. Что же это? Почему так? Что делать? Но сделать ничего нельзя, я понимаю это и ругаюсь. Потом сижу, глядя в одну точку, и в голове проносится вереница горестных мыслей.

- Ничего! Не надо... - говорит Попов. - Война!..

Да, война. Но она не была неожиданностью в нашей жизни, эта война. Она висела над нами все недолгие годы нашего детства, она зрела, накапливаясь с самой колыбели. Под ее черным крылом качались, росли и учились мы, сыны солдат и сами будущие солдаты. Наши матери думали, что мы - их дети - рождены ими для радости и опоры в старости. А на деле получалось, что недолго мы были их утехой и редко - опорой. Поднявшись на ноги, мы шли в армию, и годы нашего детства были мимолетным перерывом между двумя войнами. Мы чувствовали это, но жили надеждой, что все как-то уладится. Да в детстве война и не казалась нам чем-то ужасным, - наоборот, излюбленными нашими игрушками было оружие, самые интересные книжки были про войну. Наши молодые души еще подсознательно тянулись, к захватывающей романтике подвигов, бездумно-красивой храбрости, и литература, не скупясь на примеры, подогревала нашу фантазию. Но вот грянула война, которую нам навязали, и все оказалось далеко не так, как представлялось. Своей жестокостью, кровью и потом война вышибла у многих из нас книжный романтический пыл. И потому не за посулы, не за награды и не из любви к приключениям приходится нам испытывать все это, а а из-за того, что мы

хотим жить, выстоять.

В моей голове сумбур. Глаза застилает туман обиды и горечи. Я бессмысленно кручу в руках письмо Желтых и стараюсь что-то решить раз и навсегда.

- Попов! - говорю я, глядя на наводчика. - Будем держаться? Да? До конца?

В потемневших глазах Попова коротко мелькает удивление, брови сдвигаются к переносице.

- Зачем так говоришь: конца? Не надо конца. Живи надо! Думаешь, Попов легко? - помолчав, спрашивает наводчик. - Попов плохо! Желтых - команды?. Желтых друг... На Днепре пропал... Якут Попов целовал русска Желтых. Желтых целовал якут Попов. Говорил: прощай! Плохо, плохо, прощай...

Летнее небо в дымной пелене. Солнце печет, обжигает наши лбы, горький соленый пот разъедает лица. Докучают мухи. Я то и дело отмахиваюсь от них пилоткой. А Попов не очень складно, путая русские и якутские слова, начинает рассказывать мне, как в осеннюю пору форсировали они Днепр, дрались на узком плацдарме, как его рота погибла вся и как фронтовая судьба свела его с Желтых. Они вдвоем отбивались из пушки до вечера, отстреливались из автоматов, потом, потеряв надежду уцелеть, простились. Но в последнюю минуту смерть обошла их, и они спаслись. С тех пор много еще трудных и славных дел свершили два эти солдата, чтоб вот сегодня расстаться навеки.

**13**

В укрытие заглядывает Лешка. На его голове каска.

- Так сколько же мы тут высидим? Пока в плен не возьмут, что ли? -

говорит он злым голосом.

Бой переместился за деревню и теперь гремит там тысячью далеких громов.

Где-то над дорогой, вылетая из-за холмов, визжат немецкие мины, но рвутся они далеко, в деревне. Попов, все не находит места для своей руки: то прижимает ее к груди, то кладет на колени, то вытягивает в тени под стеной окопа.

- Было бы геройство, - ворчит Задорожный, - а то глупость одна.

Поубивают, и никто не узнает. Напишут: пропал без вести. Или еще лучше - в плен сдался.

Попов морщится от этих слов, но опять говорит свое:

- Командыр Желтых не отступал. И Попов не отступай. Трус отступай.

- Желтых, Желтых! Что мне Желтых? Ему теперь все равно. А мы живы еще.

- Эх, Лошка, Лошка! - качает головой Попов. - Плохой твой голова...

- Что "голова"! - огрызается Задорожный. - Вот гляди: хоть бы ты!

Прогеройствовал, можно сказать, танк подбил, а толку что? И знать никто не будет. Возьми Лукьянова - герой! Под огонь лез. А его чуть ли не преступником считают.

- Лукьян, да? - спрашивает Попов и почему-то задумывается. Что-то щемящей болью отражается в его наивных глазах. Недолго поразмыслив, он говорит: - Да. Надо идти к комбат. Надо сказать. А кто ходи? Лошка ходи? Лозняк ходи? - спрашивает он и оглядывает нас.

Его вопрос застает меня врасплох. Я понимаю, что нелегко пробраться к своим, но все-таки в этом еще таится какая-то возможность спастись. Однако именно эта возможность и не дает мне решимости вызваться. Мне очень неловко, стыдно оставлять их тут, почти обреченных на гибель, и за их спинами спасать прежде всего свою жизнь. Лешка же, что-то прикинув, решает:

- Я пойду.

- Говори комбату: Желтых погибай, Лукьянов - хороший солдат. Не надо его думай плохо. И приказ надо. Пушка есть, как бросай? Попов будет ждать,  
- встает с места Попов.

Лешка поворачивается, веселеет, глубже надвигает каску и берет автомат.

- Я в обход. Ауфвидерзей! - восклицает он и, пригнувшись, бежит в сторону покинутой пехотой траншеи. Мы остаемся втроем. Попов перебирается на станину и начинает наблюдать вместо Лешки.

- Верно Попов говори? - спрашивает наводчик и сам себе отвечает: - Верно! Лукьян медаль надо. Попов приказ надо.

Я, однако, не слушаю. Что-то будоражит мое сознание, хочется крикнуть, задержать Лешку, но он быстро скрывается в опустевшей траншее. А я так и не могу понять, почему я против этого его ухода. Сзади слышится тихий протяжный стон, это Лукьянов. Поворачиваюсь и тихонько прикасаюсь к его колену.

- Лукьянов?

Он с трудом приподнимает веки.

- Плохо... Душит очень...

- Потерпи немного, - говорю я, - отобьемся - выручим.

- Только не бросайте! - безразличный к моему утешению, просит он. -

Добейте лучше. Застрелите...

Я знаю, в таких случаях нельзя кривить душой, уговаривать, обманывать.

Человеку в таком состоянии надо говорить правду.

- Ладно, - обещаю я. - Так не бросим.

- Спасибо, - тихо шепчет он и несколько успокаивается.

Да, кажется, ему уже не жить.

А ведь на поверку оказалось, что и Лукьянов не плохой солдат. Тихий, слабосильный, он, видно, прежде не отличался отвагой, но когда пришлось решиться на самое трудное, хоть, может, и боялся, однако не струсил. Но вот не побоялся же и Задорожный, пошел сквозь огонь. И вдруг мне кажется,

что Лешка охотно побежал в тыл потому, что там Люся. Возможно, они еще вчера условились и она ждет его, и все, что он говорит о ней, правда.

Злость и досада снова охватывают меня.

- Лозняк! - вдруг встревоженно окликает меня Попов.

Я выскакиваю из укрытия. Через бруствер к нам переваливается незнакомый солдат. Приподнявшись на коленях, наводчик удивленно оглядывает его.

Видимо, он проворонил, и пехотинец незамеченным подошел к огневой.

- Отвоеався! - говорит солдат каким-то неуместно беззаботным голосом, будто мы где-нибудь на занятиях в тылу.

И тут мы с Поповым настораживаемся и молча смотрим на его испещренное оспой лицо, на котором в странной неподвижности застыли глаза. Но самое худшее даже не в глазах. Правой рукой солдат сжимает левую, которая, будто браслетом, перетянута у запястья узким брючным ремнем. Ниже на каком-то клочке кожи висит почти совсем оторванная, окровавленная, с растопыренными пальцами кисть.

- От, хлопцы, отвоеався! У кого е ножик? - спрашивает солдат и садится на краю площадки.

Мы оторопело всматриваемся в его побелевшее лицо, на котором по-прежнему не дрогнет ни один мускул. Это его спокойствие удивляет нас. Я бросаюсь в убежище, достаю из кармана Желтых нож и возвращаюсь наверх.

- Ой, ой! - говорит Попов. - И не болит?

- Отстал, - невпопад отвечает солдат. - Все побиглы, а мэнэ як вдарить!

Очнулся, гляжу: раненый...

- Ты что, не слышишь? - кричу я ему в лицо.

В его затуманенных, полусонных глазах пробивается еле заметное усилие услышать и понять вопрос.

- З шистой роты я, - глуховато отвечает он. - Панасюк. Тэпэр до дому пиду. На ось, отрижь, хлопец.

Я перерезаю клочок кожи. Кисть навсегда отделяется от руки. Солдат



берет ее, кладет в ямку под бруствером и ботинком сдвигает на нее песок.

- Поховаты трэба. Стыльки поробила. А бинтец е? - снова спрашивает он без какого-либо признака боли. - Тэпэр полечусь и - в Иванивку. А рука нэ бида. Спецыяльнасць у мэнэ пчеляр, и одноруч управлюсь.

Кровь из перебитой руки почти не идет, видно, поясok хорошо перетянул ее, только несколько загустевших капель падают на запыленные башмаки солдата. Но все же надо перевязать, да нечем.

- Дай гимнастерку, - дергаю его за подол.

Однако солдат уклоняется.

- Ну, скажешь, вона ж нова. Тильки в травни отримливали. От нижней отдири.

Мы смотрим на него с удивлением. Солдат поворачивается ко мне боком, я отрываю кусок его нижней рубашки и кое-как обертываю руку.

- Отвоевався! - снова сообщает он и озабоченно добавляет: - От тильки медаль згубив. - Действительно, над карманом косо висит засаленная серая ленточка медали "За отвагу", самой медали нет. - Теперича ни с чим и до дому показатысь.

Мы молчим, смотрим на нежданного гостя и не можем его понять.

- Ну ось гарно, - говорит солдат, когда я заканчиваю перевязку, и удобнее устраивается под бруствером. Вещмешок он подвигает под локоть. - Спичну трохы и пийду.

- Куда ты пойдешь? Там же немцы! - кричу ему в ухо.

- Га? Винницкий я.

- Тебе что - не больно?

Но Панасюк молчит. Мы переглядываемся с Поповым, а пехотинец устало закрывает глаза и медленно склоняет на плечо голову.

Наше удивление прерывает быстро нарастающий гул.

Отпрянув от солдата, мы несколько секунд вглядываемся в дорогу, по которой, подняв облако пыли, мчится из-за холмов колонна машин. В их объемистых кузовах плотными рядами сидят немцы.

Попов от неожиданности что-то вскрикивает по-якутски и здоровой рукой хватается за механизм наводки.

- Лозняк, заряжай!

Я хватаю из раскрытого ящика осколочный и толкаю его в ствол. Но получается это у меня неловко: гильза застревает, до конца не доходит, и клин не закрывается. Как это иногда делал Задорожный, и подталкиваю ее рукояткой лопаты и пригибаюсь.

Грузно оседая на скатах, головная машина переползает на объезде минного поля канаву и выбирается на дорогу. Неожиданно звучно грохает выстрел. Пыль застилает огневую. Я не вижу, куда попадает снаряд, и бросаюсь за следующим. Снова меня охватывает азарт боя, до дрожи напрягаются нервы, я хочу отрешиться от всех мыслей, не спускать глаз с врагов. Но где-то внутри начинает канючить надоедливый голос: "Ага, вам конец, а он жив! Он уцелеет и будет с Люсей. Говорил о Лукьянове, а думал о себе, ага!"

Усилим воли я стараюсь заглушить в себе этот голос, сосредоточиваюсь только на деле - ползаю на коленях от казенника к ящикам. Попов часто стреляет, меня обсыпает песком, оглушает, я не знаю, не вижу, где машины, - вся моя воля и силы собраны воедино: не пропустить их в деревню. Я чувствую, что этот наш поединок кончится плохо, в машинах, наверное, пехота. Но теперь уже все равно.

А с Поповым в это время начинает происходить что-то непонятное. Он как-то злорадно оживляется и, согнувшись над прицелом, кричит: "Стой,

Гитлер! Назад, Гитлер!" - и еще что-то, но выстрелы заглушают его слова. Я приподнимаюсь на коленях и из-за щита выглядываю в поле. Три машины горят на дороге, несколько, спасаясь от огня, поворачивают в объезд. На плоском смуглом лице Попова отражается детская радость: он загнал их на минное поле.

- Много-много давай! Сильно давай! - кричит Попов и наводит орудие.

Чувствуется: в колонне растерянность. Два автомобиля, разнесенные взрывами, грудой железа осели на землю, остальные бросаются в стороны. Хвостовые поворачивают назад к холмам.

- Давай, Лозняк, заряжай! - в необыкновенном азарте подгоняет меня наводчик.

Но вот в ящике остаются два последних снаряда, и я, схватив было один, в нерешительности держу его в руках.

После очередного выстрела Попов оглядывается, сразу все понимает и уныло опускает руки. По его почерневшему лицу текут струйки пота, гимнастерка на спине мокрая, темные глаза встревоженно сузились.

- Нехорошо. Ай-ай! - говорит наводчик. - Плохо будет.

Я ползу к ящикам, отбрасываю пустые, их уже много, и всюду на огневой валяются гильзы. Наконец мне попадается что-то тяжелое. За веревочную ручку я подтягиваю его ближе к орудию и раскрываю. Тут десять снарядов картечи. Это последняя наша надежда. Но для стрельбы картечью немцы далеко, и мы начинаем ждать.

- Ой, Лошка! - снова мрачнеет Попов. - Где Лошка? Снаряд мало. Приказ надо...

Мы поглядываем в тыл: нигде никого, вокруг изрытое воронками поле. За деревней не стихает бой, часто рвутся снаряды, грохочут, режут моторы и беспорядочно рассыпается пулеметная трескотня. Видно, немцев дальше не пустили, это хорошо, но мы не знаем, что делать нам. Ждать ли Лешку? С ним тоже могло случиться всякое, может, лежит где-либо убитый? Но опять же,

как уходить? Рядом дорога, по ней, наверное, пойдут немцы, и мы могли бы их задержать, не допустить к деревне. Если бы только были снаряды!..

Немцы не спешат атаковать нас. Они притаились у дороги и чего-то ждут.

Панасюк тем временем спокойно сидит, прислонившись спиной к брустверу.

Однако голова его как-то неловко склоняется набок.

"Неужели спит?" - думаю мне, и я дергаю солдата за ногу:

- Эй, ты! Иди в окоп.

Но он не шевелится. Тогда я поднимаюсь и тормошу его. Голова Панасюка неестественно перекачивается на шее, и я поражаюсь: в прищуренных его глазах смерть.

- Гляди, умер!

Удивленный, я несколько секунд гляжу на него.

- Помирал, - соглашается Попов, сидя на станине. - Давно помирал. Там помирал, - показывает он на пехотную траншею, откуда пришел солдат.

Эта неожиданная и, казалось, беспричинная смерть незнакомого человека потрясает меня. Ведь вот только что он был жив и имел право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть!

- Тащи его яма. Тут не надо ложись, - говорит Попов.

Я беру Панасюка за руки и оттаскиваю в укрытие. Там опускаю у стенки рядом с Лукьяновым. Лукьянов еще дышит. Я дотрагиваюсь до него, но он не шевелится. Несколько минут я молча гляжу на покойников и думаю: "Кто же следующий?"

Вдруг слышу голос Попова:

- Кривен! Огонь! Огонь!.. Нашто молчи? Огонь!

Я выскакиваю из укрытия - так и есть! С дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, воровски перебегают немцы.

- Кривен! - кричит Попов.

Но Кривенок молчит.

На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемет, рядом валяются пустые ленты. Кривенка здесь нет.

Мы молча переглядываемся с Поповым. На его скуластом, буром от пота лице растерянность.

- Немец ходи? Плен ходи?

Я молча пожимаю плечами.

Немцы тем временем скрываются в пшенице. Попов смотрит то на дорогу, то на картечь в ящике. Но картечи у нас только десять снарядов. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру.

- Ой, дурной Попов! На што послал Лошка?

- Вообще-то да, - говорю я. - Не того послали.

- Ой, Лошка хитрый! Бросай нас Лошка.

Уверенность, с какой говорит эти слова Попов, действует как гипноз.

Теперь и мне становится ясно, что Задорожный не вернется. Не за тем пошел!

И все же не хочется верить этому. Я отгоняю дурное предчувствие. Все-таки как это он смеет бросить нас? Хочется как-нибудь успокоить Попова, и я говорю:

- Может, все же придет?

- Снаряд мало - плохо. Лошка не идет - плохо. Кривенок пропал - плохо.

Три плохо - очень большое плохо.

Кривенок, однако, вскоре является.

Сперва откуда-то из-за бруствера с грохотом падает на огневую тяжелый закрытый ящик. Мы вскакиваем со станин, и сразу же из соседней воронки переваливается к нам Кривенок. Гимнастерка выбилась у него из-под ремня, весь он в земле, грязный и пыльный. В одной руке боец держит моток металлических пулеметных лент, в другой - широкий эсэсовский кинжал.

- Где, зачем ходи? Почему плохо делай? - сразу набрасывается на него Попов.

Кривенок отдувается, привстает на коленях и начинает заправлять

гимнастерку, с явной укорижной поглядывая на наводчика.

- Вот, - кивает он на снаряды. - На Степановской огневой взял. И патроны.

- Степанов ходи? А где Степанов? - добреет Попов.

- Они-то укатили. Успели, - говорит Кривенок. Затем берет кинжал с тусклой гравировкой "Deutschland uber alles" [Германия превыше всего (нем.)] и начинает вытирать его о землю. Лезвие и рукоятка в крови. И я вдруг догадываюсь, где он взял ленту.

- Что, на дорогу ходил?

- Где был - там меня уж нет, - огрызается Кривенок.

- А это? - киваю я на кинжал.

Кривенок вгоняет его в черные лаковые ножны и как-то неприязненно посматривает на меня.

- Ну и что? - бросает он. И другим тоном, спокойнее уже сообщает: - Вон пехота пошла, видели?

- Как пошла?

Попов от неожиданности моргает глазами и привстает на коленях. Я также оглядываюсь поверх бруствера. Видно, как вдали по склонам холмов бредут вниз редкие группы людей. Задние несут ПТР, кто-то тащит станковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в ходе сообщения, который ведет в тыл. В первой траншее уже никого не видно.

- Ай-яй! - озабоченно произносит Попов и умолкает.

Говорит больше нечего, мы и без слов понимаем, что произошло.

- Ой как нехорошо! Гитлер скоро-скоро иди. Давай земля копай.

С каждой минутой положение наше ухудшается. Только теперь ничего не сделаешь, надо ждать Лешку или счастливого случая и готовиться к бою.

Попов остается на огневой, а мы с Кривенком лезем в окоп. Окопчик наш помелел, бруствер разбит. По обеим сторонам густые оспины минных воронок, трава пересыпана пылью. Кривенок берет лопату со сломанной рукояткой, я -

простреленную, с порванным ремешком каску, и мы начинаем углублять окоп.

Пот, перемешанный с пылью, грязью блестит на наших лицах. Солнце, кажется, уже склоняется к вечеру, но палит нещадно. Очень хочется пить. В голове сумбур, говорить нет никакого желания, дремотная лень овладевает телом.

Я выгребаю из окопа комковатый с черноземом грунт и высыпаю его на бруствер. Кривенок копает в трех шагах от меня, он какой-то непонятный сегодня, совсем исчезло его сдержанное дружелюбие. Кажется, за весь день парень не сказал ни одного доброго слова и будто невидимой стеной отгородился от меня.

- Слушай, - тихо говорю я. - Ты чувствуешь, что будет? - Он глядит на меня холодными глазами и молча продолжает выбрасывать землю. - Туго, брат, будет.

- Ну и черт с ним! - бросает Кривенок.

Я всматриваюсь в парня: вид у него никудышный, действительно, лучше не приставать к нему с разговорами. Но чего это он такой злой сегодня? Разве мы чем-нибудь обидели его? Я некоторое время думаю, стараюсь что-то понять, и одна догадка появляется в моей голове:

- Слушай, Кривенок! Ты чего злишься?

- Ничего я не злюсь, - говорит он и поднимает на меня неласковый взгляд.

- Нет, не скрытничай. Ни к чему.

Кривенок с яростью вымахивает через голову полную лопату земли и тяжело дышит. Но я жду. И вдруг он выпрямляется.

- На Задорожного из-за Люси бросился? Да?

- А тебе что - Задорожного жалко?

- Плевать мне на Задорожного.

Так вот оно что! Теперь уже исчезает догадка, теперь все понятно. Но что я могу сказать ему. Соврать, что Люся тут ни при чем, у меня не

поворачивается язык, а сказать правду я не хочу.

Кривенок молчит. У меня также пропадает охота к разговору, и я налегаю на каску.

В конце окопчика торчит из земли помятый рукав, я тяну его - это бушлат Желтых. Странное впечатление производят на меня вещи убитых. Бушлат старенький, густо промаслен и запачкан грязью, один погон на плече оторван, на другом красная полоска нашивки. Я помню, как Желтых пришивал ее. У него не было тогда иголки, и я дал ему свою с черной ниткой.

Под бушлатом еще и вещевого мешок. Что-то твердое попадает мне в руки, и не без любопытства я развязываю лямки. Чужой вещмешок - что чужая душа. Я нащупываю в нем вафельное полотенце, портянки, наставление по противотанковой пушке, пару кожаных подошв, перчатки мотоциклиста с длинными широкими нарукавниками и на самом дне какую-то замысловатую шкатулку с лаковой крышкой... Эти находки несколько удивляют меня.

"Старый, мудрый Желтых, - думаю я. - Ты был богат своим житейским умом, но разве не видел ты, сколько оставалось в ротах таких вот никому не нужных котомок после удачных и неудачных атак? Знал же, но, видно, не мог преодолеть искушения припрятать, сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел..."

Я выбрасываю за бруствер эту незавязанную, теперь никому не нужную котомку и снова беру каску. Сухая, накаленная солнцем земля, как гравий, противно скрежещет по стали. Мне не видно, что делается на поверхности, но Попов молчит, и в голову лезет всякое.

Мне вспоминается давнишний наш комиссар, который однажды перед атакой тщательно начищал свои хромовые сапоги, только что сшитые сапожником-партизаном, и был убит через час, даже не запачкав как следует тех сапог. Встает перед глазами отрядный старшина Клыбов, известный у нас скупердьяй и барахольщик, у которого нельзя было выпросить лоскут на заплатку и который возил с собой три воза разных трофеев. Снаряд ударил



как раз в повозку, где сидел старшина, и разбросал по кустам все богатство хозяина вместе с его потрохами. Помню, видел я в госпитале, как хирург оперировал одного солдата и, наверное, около часа ругался. Оказывается, немецкий осколок разбил в кармане этого автоматчика семеро часов, и сотни шестеренок, осей и пружинок вонзились в бедро. Нет, пусть будет проклято барахло, причиняющее лишние заботы людям! До него ли мне нынче, когда стоит только зажмурить глаза, - и вот они, страшные колеи...

Но неужели это так и сойдет в могилу со мной и бесследно исчезнет моя неотмщенная ненависть? Неужели мы обречены тут на гибель и ничто не сможет выручить нас?

Нет! Я не верю в это. Если есть справедливость на свете и разумный смысл в жизни, то я буду жить. Я должен жить - погибать мне нельзя.

## 15

- Лошка! - вдруг кричит Попов. - Ребята, Лошка!!!

Мы с Кривенком вскакиваем в окопе. Попов здоровой рукой показывает в поле, туда, где нет ни немцев, ни наших. Действительно, по пологому косогору вдали кто-то бежит.

Человек еще далеко, и видно только, как катится по зеленому полю маленькая его фигурка в зеленовато-желтой, выцветшей на солнце одежде. Несомненно, он направляется к нам.

Человек тем временем исчезает в лощине. Несколько минут мы ждем, не сводя с того места глаз, и он снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз.

- Молодэц Лошка! - довольно, почти радостно говорит Попов.

Это хорошо, что он возвращается, только бы не помешали немцы. Они не так уж далеко и, наверно, заметят одинокого в поле солдата. Я настороженно всматриваюсь в дорогу, но там никого, только чадят, догорая, автомобили; другие, подбитые и брошенные, неподвижно стоят в канаве. Танк все еще курится изнутри, на ветру вьются редкие космы дыма. В воздухе стоит приторный смрад бензина, краски, жженой резины и еще чего-то до тошноты горьковато-сладкого.

Но почему-то умолкает Попов, хмурится сосредоточенный Кривенок. Я ищу в поле маленькую фигурку нашего посыльного и удивляюсь. Начинает казаться, что это не Лешка, и даже не солдат, и не мужчина. Да, конечно, придерживая под мышкой какую-то ношу, бежит женщина в военной форме.

Самый зоркий глаз, однако, у Попова. Он несколько секунд остро всматривается в даль и с радостным удивлением восклицает:

- Люся!

Да, это Люся. Как ни странно, ни глупо и ни удивительно, но это она. Я сам уже вижу, как часто мелькают в траве ее быстрые, в черных сапожках ноги и развевается на ветру золотистая шапка волос. Под мышкой у нее санитарная сумка. Конечно же, Люся спешит к нам.

Тревожная радость охватывает меня. Зачем бежит она? Может, случилось что с Лешкой? Может, она думает, что он тут, и потому не выдержала, помчалась? Но тогда лучше бы она не показывалась к нам сегодня. А может, это ее послал комбат Процкий с приказом? Но зачем Процкий будет посылать санинструктора, разве не нашлось бы другого солдата в полку? Я все думаю и не могу понять, почему и зачем она бежит сюда.

- Вот молодэц! Ну, молодэц! Ох, Люся! - восхищается Попов, навалившись грудью на бруствер.

На его вспотевшем широком лице блуждает добродушная улыбка. Кривенок же сжимает челюсти и, не сказав ни слова, лезет назад в окоп.

Я уже не могу оторвать глаз от нее. Она бежит! Мелькают на солнце ее

загорелые коленки, и треплются на ветру волосы. Она перескакивает через обмелевший травянистый ручей и, чуть замедлив бег, поднимается на пригорок, где находимся мы. Тут ее немцы еще не видят. Но скоро она выберется на открытое поле и тогда, кто знает, как повезет ей. Только бы проскочила, только бы успела!

Занятые Люсей, мы не видим, откуда вдруг по орудийному щиту звонко щелкает пуля. Попов сползает вниз, я плотнее прижимаюсь к земле, и сразу же далекая и короткая очередь бьет по брустверу и пушке.

- Сволочь немец! Подсолнух сидит! - говорит Попов. - Ох, Люся!

Я ложусь на горячую землю под бруствером и то и дело поглядываю туда, где бежит Люся. Последние метры открытого пространства - и она исчезает из нашего поля зрения, но вот-вот должна появиться снова. Попов скорчился под низеньким щитом пушки и кричит на Кривенка:

- Почему ты? Бросай лопат, стреляй! Быстро!

Кривенок оставляет лопату и высовывает из-за бруствера пулемет. Тотчас же длинная очередь бьет по ближайшим стеблям подсолнечника. Склоненные желтые головы его шевелятся, некоторые надламываются и опадают.

И вот Люся показывается. Она выбегает из-за пригорка, на секунду останавливается, окидывая взглядом поле, и снова бежит уже напрямую. Нам теперь видно ее усталое, покрасневшее лицо, заметно, как мельтешит, поблескивает на груди ее медалька. Люся оглядывается по сторонам, смотрит на нас и, кажется мне, улыбается. Только вдруг она падает. Вздогнув, я высовываюсь из-за бруствера, оглядываюсь: нет, из подсолнечника не стреляют. Уперев приклад в плечо, Кривенок зорко всматривается туда. Ага, это с другой стороны - из траншеи! Несколько очередей приглушенно доносятся оттуда, - значит, и там уже немцы. Но Люся все же вскакивает и, пригнувшись, быстро устремляется вперед.

Кажется, нам придется плохо. Мы понимающе переглядываемся с Поповым, переводим взгляды в поле. Когда немцы с обеих сторон и впереди - дело

дрянь. Они явно окружают нас.

Вдвоем мы заносим станины. Попов начинает крутить маховики, потом склоняется к прицелу, и пушечка, грохнув, подсакивает. Картечь сотней пуль разбивает дерн, поднимает на траншейном бруствере облако пыли, и автоматные выстрелы утихают. Я снова заряжаю, но наводчик, поглядывая в прицел, не стреляет.

- Ага, нехорошо! - зло ворчит он.

А Люся - вот она, вот. Последние метры она ползет, ловко изгибается в траве ее узенькая спина. Никогда не видел я, чтобы так ловко ползли даже опытные пехотинцы. Еще несколько шагов, еще!.. Люся минует примятую кукурузную кучу, подползает к брустверу и останавливается. Из-под растрепанных, золотистых волос, улыбаясь, поглядывает на нас и тяжело дышит. Я весь напрягаюсь, будто мне, а не ей теперь предстоит самое страшное - преодолеть бруствер, и мысленно шепчу: "Ну быстрее же! Быстрее! Прыгай!"

И вот она вниз головой бросается через бруствер, в орудийное укрытие, падает с плеча сумка с красным крестом, и мы бросаемся к девушке. Нет, она, кажется, не ранена, она только прижимается спиной к стене, закидывает голову и часто-часто дышит. Тонкие ноздри ее вздрагивают. Несколько секунд мы молча глядим, как судорожно бьется на ее шее маленькая жилка, как устало и нервно подрагивают на земле перепачканные, в царапинах пальцы, и теплая волна нежности к этой девушке разливается в моей груди. Как это я мог плохо думать о ней, почему я сомневался, разве не видно, что она самая лучшая, самая чистая на целом свете!

- Ой, мальчики! Мальчики!.. - хочет сказать она что-то еще, но задыхается.

- Молчи, Луся. Мало-мало молчи, - говорит Попов, стоя перед ней на коленях и с благоговением глядя на девушку.

- Вот... приказ принесла... Комбат сказал... расстрелять снаряды и...

уходить.

Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ею о землю:

- Зачем прибежала? Что, солдат не было? Куда бежала? Куда теперь, к чертям, пробьешься?

Люся виновато молчит.

Попов, раскрыв свои узкие, с припухшими веками глаза, какое-то время глядит на нее, затем зло сплевывает в песок:

- Правда говори Лозняк. Зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал.

Теперь что делай?

- Ладно, мальчики, не злитесь на меня, - вздыхает Люся. - Как-нибудь выберемся.

Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников.

Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице.

- Кто это?

- Один пехотинец, - говорю я. - А там командир и Лукьянов.

- Команды? Люся, команды? - вздыхает Попов.

Наморщив переносье, Люся жалобно всматривается в лицо убитого и молчит.

Тогда Попов спрашивает:

- Задорожный пропал?

Она выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбку на ободранных до крови коленях и сообщает:

- Задорожный ранен, вот я и побежала.

Что-то недоброе тревожит меня.

- Что, сильно ранен?

- Да нет, легко, - говорит Люся и прикусывает губу.

Большая и нежданная радость моя быстро меркнет, смысл нового приказа омрачается горечью разочарования. Куда же тут пробьешься теперь? Хоть бы на какой час раньше...

Из окопа длинной очередью бьет пулемет Кривенка. Попов, пригнувшись,

ползет к пушке. Я хватаю автомат и лезу за ним.

Ну конечно, они уже идут сюда. Из подсолнуха их высыпает в поле человек двадцать. На ходу, не целясь, они начинают строчить из автоматов. Пули стегают по брустверу, бешено цокают по металлу пушки, проносятся над огневой. С другой стороны - из пехотинской траншеи также выскакивают и бегут сюда немцы.

Вот оно, кажется, начинается, самое страшное. И Люся!.. Надо же было ей влезть в это пекло! Какого черта летела сюда? Ведь пропадет понапрасну... Кривенок часто бьет из пулемета, бешено брызжут вокруг горячие гильзы. Попов целится в тех, что бегут от траншеи. Я со снарядом в руках гнусь между станин и, напрягшись всем телом, жду первого выстрела. Но Попов медлит, и я знаю - он подпускает ближе. Вблизи им уже спасения не будет. Хорошо, что Кривенок притащил еще ящик, ведь картечи у нас осталось только семь гильз, восьмая у меня в руках, одна в стволе, одну мы уже выпустили...

"Держись, Лозняк, держись! Время твое настало. Помни, помни колеи!" - мысленно говорю я себе, и эти слова придают мне силы.

"Гах!" - бьет и отскакивает назад пушка. Потом еще и еще, и все вокруг утопает в бешенстве громов, молний, пыли и горячих, путаных мыслей...

## 16

Как-то все же случается, что атаку мы отбиваем и никто из нас не гибнет. В принесенном Кривенком ящике лежат еще три снаряда. Не везет только нашей пушчонке. Ствол ее остается на откате - вперед не идет. Где-то пробило противооткатный механизм, и из-под казенника по земле течет

зеленоватый ручеек веретенки. Попов сидит меж станин, раскинув ноги, я на животе лежу возле сошника, мы выплевываем изо рта песок и тяжело дышим.

Рядом из укрытия высовывается взлохмаченная ветром голова Люси - ее большие серьезные глаза смотрят на нас. В окопе лязгает металлической лентой Кривенок.

Немцы куда-то исчезли, видно, убрались в подсолнечник и траншеи. В траве прибавилось еще с десяток трупов. Но и мы изнемогли, пот заливал глаза, мучит жажда. Какое-то время мы сидим возле орудия. Попов то ли от усталости, то ли от душевной тоски становится мрачным и долго молчит.

Потом смотрит на меня и зло произносит:

- Лозняк, помнить надо! Желтых погибай - помни! Лукьян погибай - помни!

Солдат погибай - помни! Гляди - и все помни! Век помни!

Он отворачивается, вытирает лицо рукавом и спокойно добавляет:

- Пушка помирал. Автомат бери, гранат бери, нож бери...

Да, дошла очередь до автоматов, ножей и гранат - я это чувствую.

Пушечка послужила нам, и неплохо, но все же кончилась ее служба.

Я сползаю с площадки в укрытие и там выпрямляюсь. Люся сидит над Лукьяновым, сбоку лежит ее автомат. Я берусь за кожух - горячий. Нет, это не от солнца - это она стреляла, а мы в грохоте и громе даже не заметили того. Я вынимаю диск, патроны в нем еще есть, но немного - диск легкий.

Автомат этот Желтых, я узнаю его по новенькому кожаному ремню от немецкого карабина. Затем начинаю собирать патроны - из магазинов, подсумков, из карманов убитых. Набирается всего на два диска, не больше. Этого, конечно, мало. Правда, в окопе должны быть еще, там же лежат гранаты. Тем и будем отбиваться.

Торопливо заряжаю магазин. Патроны в нем надо ставить прямо, но пальцы не слушаются, и патроны рассыпаются в пазах. С тупой злостью я ругаю патроны, конструкторов этого неудобного магазина и с досадой - приказ комбата, который не принес нам спасения. Затем поглядываю на откинутую

руку Желтых. Часики его все тикают, красная стрелочка торопливо бежит по черному циферблату - скоро пять. Только еще пять часов, а кажется, с утра прошла целая вечность и пережито столько, что иным хватило бы на весь век.

Мне очень плохо, очень тоскливо и очень трудно. Но все же где-то в глубине души теплится радость, и я знаю - это от Люси. Я чувствую ее тут, если и не вижу, слышу ее дыхание, каждое движение. Только все думаю, убережем ли мы ее?

Люся тем временем возится с Лукьяновым, отстегивает от своего пояса фляжку и подносит к его губам. Вода по грязной шее льется, стекает вниз. Лукьянов оживает, тихонько загребает землю руками и, опираясь на локоть, пробует встать. Запекшиеся губы его шепчут:

- Я сейчас... Сейчас...

- Не надо, лежи. Еще пей... Еще, - говорит ему Люся и наклоняет фляжку.

Лукьянов пьет. Кадык на его худой шее судорожно ходит вверх-вниз. Наконец солдат поднимает бледные с просинью веки.

- Спасибо, - произносит он слабым голосом. Затем, помолчав, беспокойно оглядывает бруствер, небо и тихо спрашивает: - Где немцы?

- Лежи, лежи, - горестно успокаивает его Люся. - Все хорошо. Лежи. Не надо о немцах.

Кажется, это настораживает Лукьянова, внимание его сосредоточивается и взгляд останавливается на Люсе.

- Мы не в санчасти? Нет?

- Молчите. Нельзя разговаривать - хуже будет, - будто ребенку, разъясняет Люся.

Лукьянов как-то спокойно опускает веки, прикусывает губы и в настороженном раздумье спрашивает:

- Пожалуй, я умру? Да?

- Ну, что вы? - удивляется Люся. - Зачем так думать? Вот отобьемся, отправим вас в госпиталь, и все будет хорошо.



- Отобьемся... - шепчет Лукьянов, кусает губы и снова пробует встать.

Люся мягко, но настойчиво укладывает его на спину. Вдруг каким-то чужим, натужным голосом от требует:

- Где мой автомат? Дайте автомат!

- Ну лежите же! Что вы такой беспокойный! - уговаривает Люся.

Я заряжаю три автоматных диска. Надо еще перебраться на ту сторону площадки в окоп, поискать наши запасы. Наверху, кажется, становится тише. Грохочет где-то вдали, за деревней, а тут только изредка эхом раскатываются в небе винтовочные выстрелы. Попов из-за колеса наблюдает за полем. Я переползаю площадку и падаю в окоп, в котором одиноко сидит Кривенок. Он бросает на меня неприязненный взгляд и подбирает с прохода ноги:

- Лукьянов пришел в себя, - говорю я. - Может, выживет.

Но Кривенок молчит. Оказывается, от него нелегко добиться слова. Я разрываю в нише землю, выкапываю оставшиеся гранаты, вытягиваю из-под песка тяжелые просмоленные пачки с патронами. Кажется, больше тут ничего нет.

- А у тебя сколько? - спрашиваю я у Кривенка.

Он нехотя кивает на пулемет, из приемника которого свисает наполовину пустая лента.

- Это все?

- Да.

Я оставляю ему лимонку и с остальным боезапасом переползаю площадку. Люся сидит, как сидела, склонившись над Лукьяновым, опершись на руку, а он стонет и часто, прерывисто говорит:

- Ну зачем обманывать?.. Зачем?.. Разве этим сможешь... Человеку правда... нужна. Горькая, сладкая... но правда! Остальное пустяки...

Люся молчит, а он, как-то успокоившись, едва переводя дыхание, произносит:

- Знаю, умру... В груди жжет... Ноги отняло... Да... - сипит Лукьянов,  
и в груди у него что-то булькает.

Люся молчит.

Какой-то болезненный надрыв чувствуется в его голосе, и я  
настораживаюсь. Бледное лицо Лукьянова покрывается потом.

- Конец, - говорит он и умолкает, будто вдумываясь в смысл этого слова.

- Что мне теперь таиться? Зачем? Ведь я - трус несчастный, - тихо, но с  
каким-то необычным напряжением говорит он. - Всю жизнь боялся. Всех!  
Всего! И соврал про плен-то...

Чувствую, эти слова адресованы мне, поднимаю на него взгляд и  
встречаюсь с его глазами. Но он медленно отводит их в сторону.

- Да, дружище, соврал. Сам в плен сдался. В окружении. Поднял руки...  
Не выдержал. Потом понял, да поздно было... И вот все. Конец! Ничто не  
помогло... - хрипит он.

Это признание ввергает меня в замешательство. Значит, совсем он не тот,  
за кого выдавал себя. Мало что он умник, - он трус, существо, достойное  
презрения на войне. Но почему-то я теперь не презираю его. Может быть,  
потому, что сегодня на наших глазах он наконец победил что-то в себе? Или,  
может, от этой его искренности? Однако, понимаю я, теперь, перед кончиной,  
не нужно ему и сочувствие, как не страшно и осуждение. Кажется,  
единственно важное, что осталось в этом человеке, - запоздалое стремление  
к правде, которой, пожалуй, не хватало ему при жизни.

Лукьянов между тем стонет, страдальчески мотает головой. Люся  
настойчиво сдерживает его.

- Ну ладно, ладно. Лежите тихо. Не надо так.

- Скорее бы. Жжет... Что ж, храбрость - талант. А я, видимо,  
бесталанный. Кому нужен такой человек-трава...

Он плачет. Крупные, как горошины, слезы текут по грязному лицу. Люся,  
наморщив переносье, ладонью вытирает их.

- Ну что ж!.. Только не думал... Ужасно и бессмысленно... Три года позади - и зря... - с обидой говорит он. - Эх! А они, сволочи, все опоганили... Дайте мне гранату!

- Зачем вам граната? - говорит Люся. - Вы же не бросите ее.

Лукьянов напрягается, приподнимается на локте, смотрит на меня дрожащим предсмертным взглядом.

- Как же я так?.. Лозняк, дай!.. Может, в последний раз...

Я понимаю, от чего мучительно ему - не только от раны! Во мне шевелится жалость к этому человеку, но куда ему граната? Граната нужнее нам, теперь не до запоздалого мщения - вот в траншее уже появляются каски, скоро хлынут немцы.

- Нет гранаты, - как можно тверже говорю я.

Он снова падает спиной на землю, и несколько слезинок сползают по его грязным щекам.

## 17

- Лозняк! - встревоженно зовет Попов. - Быстро-быстро сюда!

Я торопливо выползаю из укрытия. Попов напряженно горбится возле прицела, и, приблизившись, я вижу, зачем он позвал меня.

В пехотной траншее немцы. Мелькают над бруствером стволы их винтовок, иногда блеснет на солнце каска. Видимо, они перебегают куда-то, наверное, окружают нас. Но это еще не все. Вдали, на объезде минного поля, снова показываются автомобили: передние уже переезжают канаву. Попов зорко всматривается и, медленно покручивая маховички, наводит ствол на головную машину.

Но ствол сполз назад меж станин, затвор не закрывается, стрелять так нельзя. Ничего другого не придумав, я хватаю двумя руками казенник, изо всех сил упираюсь сапогами в землю и нечеловеческим напряжением толкаю ствол вперед. Затем заряжаю. Клинок, лязгнув, закрывается. Кажется, обошлось. Теперь выстрелит.

В то же время где-то звонко щелкает - осколками я металлической окалиной, будто крупным песком, хлещет меня по щеке. Я хватаю новый снаряд, а Попов, перестав крутить маховики, тихонько наклоняется, будто для того, чтобы выглянуть из-за щита.

- Готово! - коротко бросаю я, однако наводчик медлит.

Меня встряхивает от недоброго предчувствия, а Попов, как-то сразу обмякнув, наваливается на механизм наводки и тычется лбом в край щита.

- Ты что?

Я бросаю снаряд, хватаю его за плечи: Попов на глазах бледнеет, последним взглядом скользит по мне и тихо, едва слышно шепчет:

- Лозняк!.. Убили Попова... Убили... Дурной Попов!

- Куда тебя? Куда? Где? - в смятении спрашиваю я, не видя нигде крови.

Но он со стоном обмякает на моих руках.

- Ой, дурной Попов! Комбат... говори...

- Что говорить комбату?.. Что? Попов!

Полузакрытые веки его несколько секунд часто-часто вздрагивают и вдруг застывают. Не в силах поверить в то, что случилось, я некоторое время дико вглядываюсь в это потное, застывшее лицо. Затем кричу нелепые ругательства, и все во мне вопит страшным воплем. А машины мчатся и мчатся к деревне.

Готовый реветь в отчаянии, я отстраняю мертвого наводчика и прижимаюсь лбом к горячей резине прицела. Автомобили неудержимо мелькают мимо тоненького волоска на прицеле. Подкрутив поворотный механизм, нажимаю на рычаг. Выстрел! Где-то на огневой снова щелкает разрывная или бронебойная.

Я соображаю: надо накатить. Сквозь пыль бросаюсь к казеннику, и мои руки встречаются там с горячими, мягкими руками Люси. Лежа на земле, она также упирается в казенник. В едином усилии мы сдвигаем ствол с места. Потом я заряжаю... В ящике остается последний снаряд.

- Ага, горит! Горит! - кричу я, увидев в прицеле, как дымит наклонившаяся набок машина. Замедляя ход, ее объезжают другие. Я снова бью, пушка дергается, что-то металлическое лязгает рядом. И вдруг сквозь еще не осевшую от выстрела пыль я вижу, что стрельба наша кончилась: сорванный с люльки ствол казенником врезался в бруствер. Побледневшая, испуганная Люся лежит возле станины.

- Ну вот и все. Прошли! Не сдержали!

Машины быстро мчат по дороге к деревне, теперь мы их не остановим. По орудийному щиту бьют пулеметы и автоматы. Пули лязгают по металлу и разлетаются в стороны. Бросив все как есть на площадке, я скатываюсь в укрытие. Туда же отползает Люся.

Мы хватаем автоматы и высовываемся из-за бруствера. Немцы, выскакивая из траншеи, бегут, падают, поднимаются снова. Их человек пятнадцать. Рядом в окопе открывает огонь Кривенок. Я выпускаю первую, вторую очередь, вижу, как в пыльную землю вонзаются пули. Автомат дрожит в руках - несколько немцев падают. Затем я кидаюсь на другую сторону укрытия - к Люсе. Она тоже бьет длинной трескучей очередью, и на меня сыплются ее горячие гильзы. И вдруг она останавливается, приседает возле стены и торопливо дергает за рукоятку. Заело! Я вырываю у нее автомат, сую свой, дважды перезаряжаю. Люся прицеливается, но я дергаю ее за гимнастерку. Она оглядывается.

- Перебегай! Меняй место!

Я впервые обращаюсь к ней на "ты". В напряженном взгляде ее ясных больших глаз коротко вспыхивает немая благодарность. Но теперь это меня не радует, теперь мне уже все равно. Я хочу только сберечь ее, не дать

погибнуть прежде, чем погибну сам. Люся переносит автомат на два шага и снова прицеливается. Странно, на кажется, будто она совсем не боится. Лицо ее спокойно, только глаза прищурены и щеки потеряли прежний румянец. У меня же все издрожалось внутри, хотя внешне движения резки и уверенны. Я очень боюсь прозевать что-то, куда-то не успеть и мечусь из конца в конец по укрытию.

Мы ведем бой на обе стороны. Кривенок в окопе вдруг умолкает. Я тревожно вслушиваюсь, но вскоре он начинает грохотать дальше, в самом конце позиции. Ага, это он бьет по дороге. Оттуда, где неподвижно стоят четыре машины, редкой цепью бегут сюда еще десятка два немцев.

Да, час от часу все хуже...

Оставив на бруствере автомат, я наклоняюсь, чтобы взять гранаты. Хватаю все три, а когда выпрямляюсь, мой взгляд снова встречается с затуманенным взглядом Лукьянова. Солдат дергается, привстает и, вытянув руку, отчаянно требует:

- Дай!

И я бросаю ему лимонку, остальные РГД кладу на край бруствера и хватаю автомат. Я стреляю по тем, что бегут, что лежат, что пытаются переползть. Бью короткими очередями, пока автомат не умолкает. Потом, присев, выбрасываю пустой диск и от волнения долго не могу попасть в паз новым.

- Где они? Где? - стонет Лукьянов, в его поблекших глазах догорает отчаяние.

Я, не отвечая, вскакиваю: "Ага, они не выдержали, снова залегли неподалеку от траншеи". Несколько долговязых фигур бросаются наутек, часть остается лежать в траве. Кривенок густо сыплет из пулемета вдогонку. Те, возле дороги, также залегают, и какое-то время в поле никого не видно. Только рой пуль над нами, брызжет землей бруствер, разлетаются вдребезги разбитые комья земли...

Притаившись за бруствером, мы вслушиваемся, не веря, что снова

отбились. Потом Люся первой опускается на дно. И вдруг плечи ее содрогаются от плача. Я пугаюсь, мне кажется, что с ней что-то случилось, хватаю за руки, которыми она, судорожно всхлипывая, прикрывает лицо.

- Люся! Что с тобой? Люсенька! Не надо!

Она умолкает, кротко взглядывает на меня мокрыми от слез глазами и как-то неожиданно вдруг успокаивается.

- Ничего. Все. Прости...

Потом вытирает рукавами глаза, откидывает назад волосы и озабоченно спрашивает:

- Где они?

У меня также несколько спадает напряжение. Только теперь окончательно понимаю, что Попова с нами нет, и я командир этой горстки живых людей. Отдышавшись, ползу на площадку, беру наводчика за протертые на щиколотках сапоги и тащу в укрытие. Пропотевшая его гимнастерка подворачивается и оголяет запавший, худой живот с синим шрамом на правом боку. В укрытии управиться с ним мне помогает Люся. Мы бережно кладем убитого на солнцепек возле остальных.

- Ну вот и четвертый, - шепчу я.

Люся закусывает губу.

Лукьянов тихо стонет и уже не раскрывает глаз. Рука его, однако, не выпускает гранату. Только, кажется, уже напрасно. В последний раз я смотрю на запястье руки Желтых: часики все тикают, на них половина восьмого.

Нет, надо изо всех сил держаться. В этом я убежден. Упрямая злость напрягает мускулы. Черта с два мы им поддадимся! Может, это и конец, но иначе нельзя. Пусть простит меня Люся, но я буду беспощаден к себе, Кривенку и даже к ней - так надо.

- Люся, бери новый магазин, - говорю я. - Возьми гранаты. Всем по одной, одна в запасе.

Мы готовимся к самому худшему. Пока есть патроны, будем отбиваться, а

там... Что ж, не мы первые, не мы последние...

Грудью я прижимаюсь к стене укрытия, прячу за бруствером голову и жду.

Солнце палит мне прямо в лицо, и по-прежнему до изнеможения хочется пить.

Люся перезаряжает автомат и садится на дно укрытия.

"Главное, что-то решить, - думаю я, - на что-то отважиться, все остальное легче. Самое худшее - неопределенность". И постепенно мне становится легче, исчезает та беспокойная неуверенность в себе, которая донимала с утра.

- Не так просто нас взять! Пусть попробуют, - оглядываясь, говорю я, чтобы подбодрить Люсю, которая вопросительно и с затаенной надеждой смотрит на меня. Девушка молчит и вслушивается в звуки наверху. Лукьянов часто стонет, потом поднимает посиневшие веки и спрашивает, с трудом удерживая в руке гранату:

- Ну, где же они? Где? Почему не идут? Успеть бы...

Какое-то время он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, затем снова открывает их и зовет Люсю.

- Жжет сильно!.. Душит... Видно, все... Воды бы, сестра!

Люся наклоняется, поднимает с земли его пожелтевшую, с худыми тонкими пальцами кисть.

- Потерпите. Нет воды... И говорить не надо. Нельзя вам.

- Сестра, - зовет он снова. - Чего вы тут? Кто вас послал?

- Сама.

- Зачем, а?

- Так. Жалко вас стало, - просто отвечает Люся.

- Жалко! - шепчет Лукьянов и закрывает глаза. - Это хорошо. Только...

Не стоит. Не надо жалеть...

"Ну где же они? Почему не идут?" - начинает и меня жечь нетерпение. От неподвижности ноет тело, гудит в голове и клонит ко сну. Я боюсь уснуть. Стрельба утихла, немцы прячутся, но что будет дальше? Кривенок не



отзывается, только шаркает чем-то в земле.

- Люся, вы берегите себя, - сдерживая стон, тихо говорит Лукьянов. -

Берегите. Вы красивая. Это много значит!.. А мне уже все. Конец! Как бессмысленно! Эх!.. Хоть бы один день! Один день. Я доказал бы... Эх!

Кажется, он умирает. Глаза его закрываются, щеки ввалились, волосы торчат щеткой, тонкие ноздри едва шевелятся. Около него лежат Желтых, Панасюк, Попов.

Что-то сдавливает горло. Мне хочется выругаться, но рядом Люся, и я до боли в ушах стискиваю зубы...

## 18

Как адски долго тянется день!

Дожить бы до ночи! Ночью мы, возможно, выбрались бы из этой ямы и пробилась к своим. Но очень медленно опускается солнце. Тень в укрытии, однако, постепенно ширится и закрывает лица убитых и съжившийся под стеной комочек - Люсю. Воздух по-прежнему насыщен муторным смрадом жженой резины, краски, пороха; от земли пышет жаром и пылью; нет-нет да потянет тошнотворным запахом крови. Возле станины, там, где лежал Попов, кружатся, жужжат мухи.

"Только бы хватило терпения, - думаю я теперь единственную свою думу. - Только бы выдержать!.." Что-то подсказывает мне, что больше всего надо стараться сохранить ясный рассудок, не сойти с ума, не броситься удирать и не подпустить врага близко. Если не выдержим тут, то наверху нас перебьют за несколько секунд. Надо Сидеть, хотя и тяжело и страшно. "Надо держаться за землю-матушку", - говорил Желтых. В ней - наша сила и наша надежда.

- Кривенок! - зову я пулеметчика. - Ты наблюдаешь?

Я присаживаюсь в тени окопа рядом с Люсей. Помахивая кукурузной веткой, она отгоняет мух от вспотевшего лица Лукьянова. В ее глазах тихое, терпеливое ожидание. Видно, она также пережила самое трудное сегодня, и теперь на ее лице светится что-то осознанно-спокойное и очень дорогое мне. Лукьянов же не шевелится, не стонет, и Люся приподнимает его неподвижную руку. Граната выкатывается на землю.

- Жив?

- Жив еще, - вздыхает она. - Но уже скоро...

Я впервые так близок к Люсе, и впервые нас обоих объединяет общая забота. Рядом лежат убитые, и умирает наш четвертый товарищ, но я почему-то уже не чувствую особой остроты этой потери, - видно, нервы мои притупились. Но вот близкое Люсино соседство какой-то неизведанной волнующей теплотой охватывает меня. Из самых потайных глубин моей души поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то теплое, даже не дружеское, а братское вливается в мое сердце, я очень хочу прикрыть ее, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уж важны их отношения с Лешкой, с капитаном Мелешкиным. Теперь она со мной, только моя, и разлучить нас может разве что смерть.

"Милая, хорошая девчушка! - хочется сказать мне. - Я люблю тебя! Люблю! Навсегда! Навеки... Пусть мы погибнем, пусть пропаду я, все равно я буду любить тебя до последнего мгновения".

И мне почему-то становятся слышны эти мои слова, Может, я говорю их вслух? Я гляжу на Люсю: нет, она сидит в задумчивости...

А что, если сказать?

Так вот, как думаю и чувствую - скажу, пусть знает. Что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежат четверо наших товарищей? Наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как признаюсь в этом, я не могу представить себе. Но, видно, та необыкновенная

значительность, которая наступит после моих слов, и сдерживает мою решимость.

- Люся! Ты побереги себя. Прошу, - говорю я и с затаенной надеждой на то, что она уступит мне, согласится, гляжу на нее.

Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ.

- Как? Может, бежать? Бросить раненого?

- Зачем? Бежать некуда... Но все же, - возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего.

- Все же, все же... Думаешь, я зачем примчалась к вам? Оттого, что подлость доняла, вот! Задорожный ведь в санроту прибежал, за бумажкой с красной полоской - в тыл, значит. Я говорю: а как с ребятами? А он: "Что ты о ребятах - им уже крышка. К тому же я ранен", - говорит. А рана у него - царапина одна. Ну, каково? - спрашивает Люся.

Я словно немею. Забыв о немцах, осоловело гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза.

- Этого от Лешки я не ждала. От кого хочешь, но не от него, - нервно продолжает Люся. - Выбежала, смотрю: вы тут бьетесь. Бросила все, полетела. И разрешения не спросила... Только вот... опоздала.

Меня будто ошпаривают кипятком, сами собой сжимаются кулаки.

"Вот гад! Отблагодарил нас - и меня, и Попова, и Кривенка, спрятался за бумажку с красной полоской. И горя ему мало, что мы тут погибаем".

- Сволочь! - вырывается у меня. - Надо было комбату доложить.

- Что докладывать! - говорит Люся. - Все же он ранен, формально прав.

Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлет, но...

Да, формально он прав - у него царапина на руке, а тут, пока мы его ждали, погиб Попов, умирает Лукьянов, Люся попала в западню, из которой не видно выхода. Совсем новое, никогда прежде не испытанное чувство гнева охватывает меня. За все долгое время этой страшной войны я не думал об

этом, не мог представить себе ничего подобного. С восхищением и завистью я глядел на каждого фронтовика, но вот бывают, видно, и такие. И пусть бы сделал это кто-нибудь из пугливых, хотя бы тот самый Лукьянов, но Задорожный? Почему он поступил так? Гад, за это его надо судить. Хотя как судить, он ведь ранен! Вот и возьми его голыми руками.

## 19

- Пить!.. Пить!.. - снова начинает стонать и дергаться Лукьянов. Губы его высохли, лицо заострилось, и пожелтевший нос, словно клюв, торчит в предвечернее небо. Люся сидит рядом и медленно, терпеливо гладит его по рукаву.

При напоминании о воде я глотаю слюну, но и слюны уже нет. Язык сухой, в горле тоже все высохло, в глазах какой-то туман. Надо что-то делать, двигаться, иначе одолеет сон, и мы погибнем. Вдруг из окопа брызжет короткая очередь.

- Что такое? - будто очнувшись, спрашиваю я, но Кривенок молчит. Я прислушиваюсь и снова повторяю вопрос.

- Вон ползет, - нехотя отвечает Кривенок.

Я осторожно выглядываю - действительно, возле танка что-то ворочается, кажется, ползет человек.

- Стой, погоди, - говорю я. - Может, наш кто?

Мне жалко и одного патрона, жалко тишины, которая - знаю я - будет недолгой. Все же она приближает нас к ночи и оставляет надежду на спасение. Отсюда плохо виден этот человек, но, кажется, он ползет, и Кривенок опять лязгает затвором.

Рядом вскакивает Люся. Она также всматривается через бруствер: наверно, это все-таки немец. Мы видим, как шевелится трава и из нее время от времени показывается темная спина. Кривенок почему-то медлит, не стреляет, и тогда издали доносится слабый страдальческий стон:

- Пауль! Пауль!

Раненый немец, это точно. Он и ползет так - судорожно, медленно, пластом прижимаясь к земле. Люся надламывает свои тонкие брови и просит Кривенка:

- Не стреляй! погоди! Может, у него вода...

Я то прячусь за бруствер, то снова выглядываю. Опять рядом брызжет в лицо землей, и из подсолнухов доносится выстрел. "Следят, сволочи!" Немец тем временем то ползет, то замирает, слышится его натужное "Пауль".

"Странно, какого Пауля найдет он в нашем окопе", - злорадно думаю я. Один он нам тут не страшен, но на всякий случай я беру автомат и отвожу рукоятку.

С бруствера скатывается и разбивается сухой ком земли, потом еще два, и затем появляются две страшные, обожженные до красноты руки. Они высовываются из обгоревших рукавов, вгребаются в комья бруствера, и тотчас показывается голова с короткими опаленными волосами. Немец поднимает ее, и мы с Люсей одновременно ужасаемся. Лицо его, как и руки, сплошь в красно-белых ожогах; возле уха кровавистая масса, веки на глазах слиплись, запали и не раскрываются.

Какое-то время мы неподвижно следим за судорогами этого привидения, потом я строго командую:

- Вниз! Быстро! Шнель!

Но немец, оказывается, не слышит. Он все как бы поглядывает в пустоту и стонет:

- Пауль!

Тогда я хватаю его за плечо, тащу на себя; обрушивая комья, немец

переваливается через бруствер и падает в укрытие. Следом бьют несколько пуль, но мимо.

И вот он лежит на дне окопа. Это чуть живой немец-танкист, молодой, видно, наших лет парень. Широко раскинув руки, он тяжело стонет. Комбинезон его весь в пропалинах. От немца несет смрадом жженой одежды, местами на ней еще курится дым. С чувством гадливости я оглядываю этот живой труп, потом начинаю обшаривать широкие карманы его комбинезона, вынимаю из одного гаечный ключ, круглую из красной пластмассы масленку, клочок пакли. Фляги у немца нет, патронов тоже.

- Ага, припекло, чертов фриц! - говорю я со злостью и поддеваю его сапогом в бок, чтобы отодвинуть подальше.

Люся недовольно вскидывает на меня строгие глаза:

- Зачем так? Умирает ведь!

"Черт с ним, что умирает, - думаю я. - А сколько наших умерло - вон Желтых, Панасюк, Попов, умирает Лукьянов; может, кого-то из них убил именно этот фашист. Он и ему подобные залили всю землю кровью, украли у нас молодость, страданием переполнили наши души..."

Люся, однако, с какой-то непонятной мне терпимостью берет немца под мышки, немного оттаскивает и кладет рядом с Поповым.

"Пятый", - отмечаю я мысленно. Не думал, что пятым тут будет враг. А немец стонет и будто в ознобе дрожит. Девушка ловко расстегивает на его груди "молнию", на кармане мундира - черный "железный крест". Этот крест вызывает острую неприязнь к танкисту. Я срываю крест, бросаю за бруствер, потом обшариваю карманы мундира. Там множество разных книжечек, бумажек, несколько потертых писем в узеньких конвертах, сломанная авторучка и расческа в металлическом футляре.

Кажется, я хочу найти какой-то повод, чтобы оправдать свою злость, хочу увидеть в этом танкисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии, хотя в бумажках немного поймешь - одни цифры, номера, немецкие слова, написанные

неразборчивой скорописью, и всюду свастика, орлы, синие, красные печати. Но вот завернутые в целлофан снимки. На первом - улица какого-то аккуратного немецкого городка с островерхими крышами. "Грейфсвальд" - написано внизу. На втором - группа юношей на стадионе, возле переднего на траве футбольный мяч. Наверное, среди них и этот танкист. На третьем - улыбающаяся блондинка с локонами до плеч. Она довольно мила, и, если бы не слишком вздернутый нос, я бы сказал, что она красива. Четвертый снимок заставляет меня задуматься.

На нем, безусловно, этот наш "недогарок". Заложив назад руки, он стоит в мундире, и на выпяченной его груди чернеет, видно, тот самый сорванный мною крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на мое ухо. Рядом в кресле сидит немолодая уже, одетая в траур женщина. Лицо ее грустно, почти заплакано, в глазах боль. Чем-то не нашим, далеким, чужим, но и понятным веет от снимка, и я стараюсь разобрать несколько строк на обороте:

"Mein lieber Knabe! Fur mich bist du blieben der letzte. Und du sollst daran denken. Sei vorsichtig. Du bist meiner, du gehorst nicht dem Ofizier, nicht dem General oder dem Fuhrer. Sondern mir allein. Du bist meiner, meiner! Deine Mutter. 29/III, 44" ["Мой милый мальчик! Ты у меня остался последним, и ты должен помнить об этом. Будь осторожен. Ты мой. Ты не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, ни фюреру - только мне. Ты мой, мой! Твоя мама" (нем.)].

Я не большой знаток немецкого языка, но чтобы понять надпись, моих знаний хватает. И эти синими чернилами выведенные слова на минуту вызывают во мне замешательство. Как это просто, но я никогда не думал, что у моего врага вдруг окажется мать, опечаленная пожилая женщина, которая так неожиданно встанет меж нами. Она любит его, последнего, и, видно, как всякая мать, полна опасений, чтобы не случилось то самое худшее, что случается на войне. Понятно, она родила его, вырастила, радовалась его

первым шагам и первым словам... Заботилась, чтобы он хорошо учился, не имел двоек и чтобы не простуживался, не болел, не попал в беду. Так же, как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова, как миллионы матерей на земле. И может, он хороший сын, и любит ее, и еще любит эту девушку. Так что же выходит? Неужто он добрый, покладистый парень? И убил Попова, Желтых, Панасюка, ранил Лукьянова? Нет! Он фашист! Сволочь! Он тоже продал Гитлеру душу. Он враг. Иначе зачем он пришел сюда?

Я хочу быть злым, злость придает силы, но я теряю ее, потому что устал, обалдел и чего-то не могу понять.

Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор? Мне опять хочется закричать, завывать, страшно выругаться...

Но я только глупо смеюсь. Я чувствую, что становлюсь циником.

"Эх ты, муттер, - думаю я. - Чего захотела в такое жестокое время: удержать собственного сына. Хватит того, что ты родила его, вырастила и сдала в солдаты. В стране, где царит дьявол, люди - тоже собственность! Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью и жизнями. Возьми теперь, фрау, своего сына, забирай этого "недогарка".

Но что это? Где-то на западе начинается могучий сплошной гул. Наполняя собой поднебесье, он растекается во всю ширь земли. В тревоге опять сжимается сердце. Конечно, это немецкие самолеты. Они идут на деревню. Идут ровно и тяжело, будто ползут, по-гусиному поджав короткие лапы-колеса. Их много, и я не считаю их. Я вижу только, как трое с хвоста этого каравана ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами, сворачивают на нас...



Густой и стремительный, как горный обвал, рев пикировщиков отбрасывает меня от стены укрытия. Всем телом ощущая неотвратимую опасность, я толкаю Люсю в угол, и в тот же момент первая бомба выбивает из-под ног землю. Взрывы обрушивают на нас поднятые из глубины тяжелые глыбы земли. Гаснет солнце. Воздух разрывают тугие пыльные волны. Сплошь песок, огонь и лютый ад взрывов. Обхватив руками голову, я жмусь в угол, как могу, прикрываю Люсю, придерживая меж коленей автомат. При каждом взрыве девушка вздрагивает, так же вздрагивает земля, дрожу и я. Видно, нет такой человеческой силы, которая бы устояла перед страшной силой взрыва. Бомбы рвутся по три сразу. "Тр-р-рах! Тр-р-рах!" Кажется, земля вот-вот хрястнет всей своей толщиной и, как огромная перезрелая тыква, развалится на две половинки.

Я напрягаюсь, рев приближается, визг - и снова: "Тр-р-рах! Тр-р-рах!"

Девять взрывов подряд. Вокруг еще оседает земля, сверху сыплются тучи песка, поднятого бомбами, в одной стороне рев гложет, но сразу нарастает в другой. Я не знаю, жива ли Люся, она сжалась за моей спиной. Сквозь пыль не видно самолетов, но, кажется, они уже входят в пике. Слышно, как отрываются и с визгом летят на нас бомбы. "Тр-р-рах!" - бьет где-то по окопу Кривенка. "Пропал парень", - мелькает мысль. Сразу же снова визг и - "тр-р-рах!" Второго взрыва почему-то нет, может, бомба не взорвалась? Я жду захода третьего пикировщика. Пока мы живы, но неужели погибнем от последнего взрыва? Должны же у них кончиться, наконец, эти проклятые бомбы.

Третий "лапотник" немного запаздывает, пыль успевает осесть, пока он заходит со стороны солнца. Но вот опять по изрытой огневой стремительно мелькает тень и пронзительно визжат бомбы. Они рвутся где-то в стороне, и у меня появляется надежда - уцелели! Я еще боюсь поверить этому, но гул

отдаляется. Теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она вскидывает голову - с ее волос сыплется песок, оба мы по пояс в земле. Убитым также досталось, у Панасюка осколком распорот ботинок, из него вылез клочок грязной портянки.

Я стряхиваю песок с автомата и вскакиваю. Бруствера почти нет. Укрытие завалило землей. Подбитая пушка скособочилась, одна станина задралась сошником вверх.

Немцы! Они бегут из подсолнухов в поле, к нам в тыл, к деревне. Видно, как болтаются в воздухе ремни их автоматов. Двое ближних, пригибаясь, опасливо поглядывают в нашу сторону. Я дергаю рукоятку и, быстро прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы бегут. Видно, автоматом их не возьмешь. Но почему молчит пулемет? Неужели?..

- Кривенок! Кривенок! - кричу я. - Огонь! Слышишь, огонь!

Я вижу его: он жив, сидит в конце полузасыпанного, обмелевшего окопа и, черный как цыган, осатанело глядит на меня. Рот его открыт, на лице гримаса отчаяния.

- Огонь! Видишь? Кривенок!

- К черту! Все к черту!!! - вдруг кричит он таким голосом, от которого у меня содрогается сердце, и вскакивает. Он вытаскивает из земли свои босые, без сапог, ноги и, шатаясь, вылезает из окопа. Пулемета его не видно.

- На кой черт сидеть! Хватит! Прорываться! Слышишь? - кричит и ругается он, вваливаясь в наше разрушенное укрытие.

Я не могу понять, что случилось с ним, а парень хватается из-под ног гранаты, Люсин автомат.

- Убираться отсюда! Довольно! Прорываться! Ну? - кричит он и бросается на бруствер.

- Стой!

Я хватаю его за ногу, он сползает вниз, вывертывается, вскакивает на

колени и вперяет в меня обезумевший взгляд:

- Ага! И ты! И ты из-за нее? И тебе она любя? Геройство нужно?

Геройство? Тот в тылу герой! Ты - тут! Это она все наделала! - размахивая кулаками, кричит он на Люсю; на губах его пена. - Зачем ты прибежала? Кого ты жалеешь? Его? Нас? Ты - мучительница! Гадина ты, вот! Ух, сволочи, гады!

Этого я не ожидал. Это не слабость - это бешенство и глупость. Он сошел с ума. У меня поднимается нестерпимая злость на него и до боли сжимаются кулаки. Но ведь рядом немцы! Я снова выглядываю из окопа, однако немцев в поле уже нет - часть их прорвалась в лощину, в наш тыл, во фланг полка.

Тогда я бросаюсь к парню и хватаю его за плечо.

- Замри! - кричу я. - Замолчи! Очумел, дурень!..

Но глаза Кривенка по-прежнему бешеные. Стоя на коленях, он хрипит и наступает на меня:

- Ага! Бить! Бей!! Стреляй!! На, стреляй!! На!

Он рвет ворот гимнастерки, треснув, та расплзается донизу. Я хватаю его за грудь, он цепко сжимает мои руки, мы недолго боремся, и он кричит мне в лицо:

- Из-за бабы все! Знаю. Гад ты, Лозняк, подлюга!

- Замолчи! - со злостью кричу я и, собрав все силы, рывком бросаю его на землю.

Он падает навзничь, но все еще продолжает кричать:

- Из-за бабы! На друга? Бабский заступник! С ней хочешь?..

Меня взрывает от возмущения и злости на него.

- Дурак ты! Балда! - кричу я. - Ослиная голова! Что ты понимаешь? Зачем ты ее обижаешь? Задорожный сволочь! Он сачканул, чтобы не идти сюда. А она бежала! Из-за нас! По-хорошему! По-человечески! А ты? Чего ты дуришь? Чего бесишься? Пойми сначала!

Кажется; мои слова удивляют его. Он недоуменно умолкает, недоверчиво

смотрит на меня, потом на Люсю и, опершись на землю, погружается в оцепенение. А Люся, с виду далекая от нашей ссоры, будто загнанный зверек, жметя к стене. Она не плачет, но видно, как изо всех сил старается сдержать отчаяние и обиду в себе.

Через минуту Кривенок встает и садится. Черная с взлохмаченными волосами его голова бессильно свисает, как у пьяного. Я гляжу на его босые ноги, на плечи с оторванными погонами. Рукав ниже плеча рассечен осколком, на боку мокрое кровавое пятно. Непонятно, что случилось с парнем, который всегда был тверд и держался как надо? Неужели нервы? Но я не хочу успокаивать, уговаривать его, я знаю: чтобы привести его в чувство, нужны строгость, суровость. Но мне некогда - я боюсь, что к нам близко подойдут немцы, и бросаюсь к брустверу.

Вокруг огневой - пыльное земляное крошево. Травянистый участок перекопан, будто его разрыло стадо огромных диких кабанов, повсюду густая россыпь глубоких и мелких воронок. Немцев, однако, вблизи не видно.

Кривенок с гримасой отчаяния роняет на колени голову и, уткнувшись лицом в рукава, неподвижно сидит несколько минут. Затем, обмякший, но, кажется, успокоенный, медленно поднимает лицо.

- Ладно... Все! Но что делать будем? Пулемета нет.

- А что делать? - как можно хладнокровнее спрашиваю я. - Вылезешь - тут тебя и уложат. Навеки! Опять же - Лукьянов.

- Ну, черт с ним, погибать так погибать, - зло говорит Кривенок. - Только он жить будет. Где же справедливость?

Я молчу. Люся поворачивается к нему и, будто ничего не было, говорит:

- Снимай гимнастерку, перевяжу!

- Зачем? Теперь один черт! - мрачно бросает Кривенок.

Люся больше не навязывается со своей помощью, только неодобрительно смотрит на него.

- Пить!.. - опять пробудившись, одними губами шепчет Лукьянов. -

Пить...

Люся вздрагивает, сжимает челюсти, на ее грязных щеках проступают желваки. Будто сговорившись с Лукьяновым, рядом шевелится, приподнимается на локтях немец. Он, кажется, пробует встать, повернуться, но это ему не удается, и он в отчаянии просит:

- Wasser! Ein Schliik Wasser! Paul! [Воды! Глоток воды! Пауль! (нем.)]

- Пить! Пить!.. - выдыхает Лукьянов и царапает землю пальцами.

Люся круто изламывает на лбу брови, и я понимаю, как горько ей от беспомощности. А немец все еще не умирает, все дрожит и просит:

- Wasser! Wasser!

Это нестерпимо - наблюдать последние страдания людей. Но мы не можем ничем им помочь, и я отворачиваюсь. Пригнувшись за разбитым бруствером, я смотрю в поле.

По траншее идут немцы. Над бруствером мелькают их каски, темные пилотки - они направляются куда-то в тыл, во фланг прорванной обороны. Видно, они махнули рукой на нашу огневую и спокойно обходят ее.

- Огонь! - приказываю я сам себе. - Огонь!

Но из чего огонь? Мой автомат выпускает две очереди и умолкает, затвор в последний раз тупо лязгает и больше уже не взводится. Люся в укрытии ползает на коленях и перебирает магазины, ее автомат тоже без диска. Кривенюк безразлично сидит на земле, опустив голову. Что ж, остались гранаты!

Я вытаскиваю из земли РГД и поочередно поворачиваю рукоятки. В прорезях появляются красные метки - гранаты на боевом взводе.

Запихиваю их в карманы. Теперь будем ждать.

- Пи-и-ить... Пи-и-ить... - совсем ослабело стонет Лукьянов.

Я не отрываю взгляда от траншеи, знаю, рано или поздно они все же полезут на нас. Солнце уже на закате, оно слепит глаза, но надо смотреть, не прозевать. Я немного успокаиваюсь, как вдруг тишину взрывает испуганный

крик Кривенка:

- Люся!!!

В голосе его такой ужас, что я на секунду мертвею, потом, повернувшись, оглядываюсь, но поздно. На бруствере мелькают подошвы Люсиных сапог, и девушка тотчас исчезает в ближней воронке. Меня бросает в жар от страха. Что она задумала? Чего это она?

- Люся! Ты куда? Люся!

Но она, не отвечая, сразу же выскакивает из воронки, бросается на присыпанную землей траву и быстро-быстро ползет к танку. Вот она уже минует его и ползет, ползет дальше. Я напряженно слежу за ней и только теперь понимаю: это она к ближнему убитому немцу. В руках я сжимаю гранаты, окидываю взглядом простор, кажется, немцев не видно, но кто их знает... Подсолнух в двух сотнях шагов.

Люся подбирается к немцу и какое-то время сидит, склонившись над ним. В руках у нее появляется фляга, еще что-то, и девушка поворачивает назад. Оглядываясь, она быстро и ловко ползет, на мгновение исчезает в воронке, но тотчас показывается. И тогда из подсолнуха бьет первая длинная очередь.

Пули неровной редкой цепочкой взбивают пыль на разрытой земле. Люся вздрагивает, на секунду притихает, оглядывается и еще быстрее устремляется вперед. Почуввав недоброе, ко мне на бруствер бросается Кривенок. Я чувствую, как он впивается в землю руками и замирает. У меня самого холодеет сердце. Но что мы можем сделать тут без патронов?

Низко наклонив голову, она упрямо ползет к нам. В одной ее руке обшитая войлоком фляжка (наверное, вода!), в другой какая-то сумка или кобура. Ну, скорее же, скорей! Из подсолнуха снова трещит очередь, и снова замирает мое сердце. Но Люся ползет. Она направляется в окоп, где до сих пор сидел Кривенок, туда ей ближе, чем к нам. Кривенок отскакивает от меня и, пригнувшись, бросается через площадку. Я с гранатами бегу вслед за ним.

Тут несколько глубже и тише. Люся уже близко, она подползает к первым

глыбам окопа. Встретив наши испуганные взгляды, она ободряюще улыбается. Эта ее улыбка, кажется, все переворачивает во мне. Я хочу закричать от напряжения и страха за нее. Но Люся уже поднимается на уцелевший в этом месте бруствер. Кривенок, несмотря на опасность, встает во весь рост и тянет навстречу ей руки. Она протягивает к нему свои, приподнимается на коленях и... падает.

Бешеная очередь разрывных щелкает по брустверу, по земле, по траве. Песок и комья хлещут по моему лицу, запорашивают глаза. Инстинктивно я пригибаюсь, и в тот же миг меня пронзает отчаянный вскрик Кривенка.

Сквозь слезы я бросаю взгляд на Люсю - она молча и с бессильной покорностью ложится на бруствер. Рядом, обхватив руками окровавленное лицо, опускается на дно окопа Кривенок.

Вот оно! Вот самое страшное, самое худшее, оно не миновало нас! А из подсолнуха бьет вторая, третья очередь. Пуля сбивает, с моей головы пилотку, и я снова прячусь за бруствер.

## 21

- Люся! Люся! Люся! - неистово кричит в окопе Кривенок, и я, взглянув на него сбоку, невольно ужасаюсь: у парня на иссеченном лице - кровавые пустые глазницы.

- Люся! Где Люся?

- Люся тут, тут Люся, - вдруг потеряв голос, шепчу я.

А Люся тихо лежит на бруствере, положив голову на протянутую вперед руку, и на лице ее - милая светлая улыбка, которую, наверное, в последнее мгновение увидел Кривенок, в протянутой руке фляга, в другой - брезентовая

кобура с ракетницей; толстой своей рукояткой ракетница высовывается наружу. Опомившись и отчетливо осознав, что случилось, я беру девушку за тонкие, еще теплые кисти и, обрушивая с бруствера землю, стягиваю ее в окоп. Маленькое гибкое ее тело легко ложится на мои руки.

- Люся! - дико кричит Кривенок и окровавленными пальцами слепо шарит по брустверу.

Я же боюсь отозваться, боюсь сказать правду. Тогда он так же испуганно начинает звать меня.

- Сядь, - говорю я как можно спокойнее, но чужим приглушенным голосом.

- Сядь... Сиди...

- Где Люся? Лозняк, где Люся?

- Все. Нет Люси...

Кривенок умолкает, сползает вниз, прикрывает ладонями лицо, потом вскакивает.

- Гады!.. Изверги!.. Сволочи!..

Он снова, как зверь в клетке, мечется по окопу, спотыкается о брошенную на дне лопату и хватает ее.

- Где он? Где тот проклятый фашист?

Кривенок вылезает из окопа, зацепившись за орудийный сошник, падает, снова вскакивает. Он в бешенстве, ничего не видит, а я держу на коленях Люсю и не в силах остановить его, уговорить, успокоить. Пока он отыскивает наше укрытие, из подсолнуха снова бьет очередь, разрывные звучно щелкают вокруг.

- Ага? - услышав выстрелы, обрадованно кричит Кривенок. - Ага! Вот вы где! Сволочи! Гады!..

Босой, в разодранной гимнастерке, с лопатой в руках он выбирается на бруствер и, широко расставив ноги, слепо направляется туда, в сторону выстрелов. Не выпуская из рук Люсю, я медленно поднимаюсь в окопе, а он широко и невидяще идет и идет, высоко и угрожающе подняв лопату, продолжая



ругаться. Через десяток шагов, однако, падает в бомбовую воронку. Это обнадеживает меня, я прихожу в себя и кричу:

- Кривенок, стой! Стой! Не вылазь!

Но он недолго лежит там, встает и снова бросается туда, навстречу врагу. Я знаю, что все пропало, что только мгновения отделяют человека от его гибели. И когда из подсолнуха раздается очередь, я закрываю глаза. Открыв их, Кривенка уже не вижу.

Я снова опускаюсь на дно окопа и тихо, осторожно кладу на землю Люсю.

Теперь я один. Один со своей бедой и своей несчастной любовью. Впервые я так безысходно чувствую нелепую свою беспомощность в этих огромных жерновах войны, что со страшной силой перемалывают тысячи людских жизней и уже дошли до моей...

Я осторожно высвобождаю из тоненьких Люсиных пальцев ремешок фляжки, беру ракетницу - из кожаных ее гнезд торчат три цветные ракеты. Мне уже не хочется ни есть, ни пить и ни жить, пропадает и желание отстаивать эту разрушенную огневую, хочется только умереть, тихо и тут, рядом с Люсей. Однако вспоминаю тех, еще живых, в укрытии и с флягой в руках переползаю площадку. Лукьянов неподвижно лежит, где лежал, и молчит. Мне очень хочется, чтобы он очнулся, чтобы заговорил, взглянул, - страшно погибать одному. Я отвинчиваю флягу, поднимаю его запорошенную землей голову. На веке левого глаза - комок земли, я сбрасываю его, но зубы Лукьянова крепко сжаты. Кажется, он уже умер.

Я оглядываю остальных. Неподвижные, окровавленные тела, омертвевшие, забросанные землей лица... А красная длинная стрелочка на часах Желтых по-прежнему торопливо бежит и бежит по черному циферблату. Эта ее живучесть возмущает меня - с какой-то суеверной неприязнью я бью по ней флягой, стекло рассыпается, и стрелка останавливается на цифре "11".

Ну, что дальше?

Рядом начинает стонать, "недогарок". Живуч! Наши все до одного полегли,

а он жив. Во мне загорается желание добить его, но припоминаю, что Люся не дала мне это сделать в самом начале, и я верю ей. Вероятно, она своей женской душой почувствовала что-то такое, что недоступно нам, ослепленным кровью, ненавистью, горячкою боя. Черт с ним! Пусть умираем сам.

Немец дергается, стонет и тихо просит в бреду:

- Пауль! Пауль!.. Вассер!

Пить? Нет, пить ты у меня не получишь. Запрокинув голову, я выливаю себе в рот остатки теплой воды, а флягу швыряю в угол. Больше она мне не понадобится. Потом ползком возвращаюсь в окоп.

Люся лежит на комьях набросанной взрывами земли. Руки ее покоятся вдоль тела, ноги вытянуты. Я сажусь рядом и поправляю на загорелых коленях ее коротенькую юбочку. Тонкое девичье лицо уже заметно побелело, похудело. Ее последняя улыбка, что взбудоражила наши с Кривенком души, постепенно гаснет, уступая место безучастной, тупой неподвижности. Меня удивляет эта мертвенность всегда такого подвижного, живого Люсиного лица, удивляют ее глаза. Они, оказывается, совсем не синие, они серые, и я не могу понять, почему они всегда казались нам синими, как васильки.

Я закрываю их поочередно, левый и правый, - пусть спят...

Что же делать дальше? Выбежать вслед за Кривенком? Застрелиться из ракетницы? Взорвать себя с Люсей?

В углу на земляную труху вползает муравей. Земля мелкая и вместе с муравьем все время осыпается. Муравей выкарабкивается из песчинок и каждый раз начинает ползти сначала. Что значит бездумное упрямство! Я беру его на ладонь и сдуваю на бруствер - пусть идет, спасается. Добра ему тут не будет.

Нет, черта с два! Буду драться! Один за всех - за Желтых, Попова, Лукьянова, Кривенка. За Панасюка. И за Люсю. Иначе мне нельзя. Я раскладываю свой боезапас: три РГД, одна лимонка в кармане, три ракеты, - все же не пустые руки.

Кажется, начинается темнеть. Небо еще блестит ярким отсветом низкого солнца, но в окопе уже сумеречно. Бой все грохочет вдали, только не поймешь, в какой стороне. Стонет земля, стоголосое эхо громовыми раскатами сотрясает простор. Тихо разве что на холмах.

И вдруг - знакомая трескотня по брустверу. Песок, комья земли, пыль - на голову. Сыпанет - и утихнет. Через пять секунд снова, потом еще и еще...

Да, начинается...

Держись, мужайся, Лозняк! Кажется, это последний твой бой. За землю держись. И помни! Всех помни. Скоро пойдут! Я чувствую - прежней силой наливается тело. И ловкостью. Каждый мускул напрягается. И нет уже страха. Я пережил, израсходовал его. Биться так биться. Насмерть!

Приподнявшись на ноги, я одним глазом выглядываю из-за бруствера: ползут! Потные, покрасневшие лица, автоматы в руках. Сбоку кто-то падает, кто-то перебегает в воронку. Беру две гранаты, они взведены, прижимаюсь к стене. Жду. Слушаю. Какая-то жила под коленом часто и противно дрожит.

Над бруствером что-то чвякает. Граната. Щелкает запал, затем - громовой взрыв. Снова комья земли, пыль, песок застилают небо.

Размахиваюсь и в одну, другую, третью стороны бросаю свои РГД. Раздаются взрывы - один, второй, третий! Выхватываю из кармана лимонку, но рядом шлепается длинная рукоять немецкой гранаты. С остервенением хватаю ее и бросаю обратно. Сразу же - взрыв, чей-то близкий приглушенный вскрик.

Беру в правую руку лимонку, зубами отгибаю концы чеки.левой заряжаю ракетницу и взвожу боек.

Сзади, за бруствером, торопливые шаги - я сразу улавливаю их. Вырываю зубами чеку, отпускаю планку и, продержав секунды три, бросаю туда гранату. Взрыв! В тот же момент что-то рвется на бруствере, над моей головой. Удар где-то сзади и - еще взрыв! Одна граната взрывается возле пушки, и тотчас передо мной в облаке пыли встает темная долговязая фигура

в каске.

- Хенде хох!

- Скулу в бок! - кричу я и в упор стреляю из ракетницы.

Дымная струя бьет из окопа, пышет клубком искр. Немец хватается за грудь и, подломившись в коленях, падает на спину. Несколько секунд он горит. Ракета рассыпает вокруг пучки искр. Его сапоги свисают в мой окоп. Это ему за Люсю.

Я снова быстро заряжаю ракетницу, высовываюсь и бью в тех, кто поближе. Ракета подскакивает и катится по траве ярко-огненной кометой. Зеленые отблески, догорая, пляшут на комьях бруствера. Наверное, удивленные моим огневым отпором, немцы утихают.

Выбрасываю гильзу и заряжаю опять. Судя по головке, это осветительная, белая. Я жду новой атаки и благодарю Люсю. Мертвая, она спасает меня.

Но немцы молчат. Молчат минуту, две, пять... Что случилось, может, они подползают? И тут откуда-то издалека доносится танковый рев. Озадаченный, я вслушиваюсь, а гул все растет, ширится, приближается. Еще через десять минут уже всю дрожит, гудит, под невидимой тяжестью сотрясается земля. Несколько стремительных синеватых трасс мелькают над бруствером. Это уже оттуда, с нашей стороны.

Радостная догадка осеняет меня. Удивленный, я медленно встаю в окопе. Где-то вблизи, в вечернем просторе, заливаются, трещат пулеметы, и оттуда, с нашей стороны, сверкают над землей все новые и новые трассы.

С последней Люсиной ракетой в ракетнице, готовый ко всему, я выскакиваю из окопа.

Да, я спасен. Все страшное, адски мучительное позади.

Наискосок, полем, через подсолнух, к дороге, вытянув длиннющие, как бревна, стволы, идут советские САУ-100. За ними бежит, то отстает, то снова догоняет пехота.

Я сижу на бруствере с единственной ракетой в ракетнице и не ощущаю в себе даже намека на радость спасения. У моих ног лежит маленькое тело Люси. Я вынес ее из окопа под открытое небо, на широкий простор, который она уже никогда не увидит. Ни простора земли, ни нашей победы, ни этого вечернего неба, очень похожего теперь на ее серые, некогда сияющие глаза...

Идет время, а я все сижу.

Бой перемещается за неприятельские холмы. По обе стороны от нашей разбитой, никому уже не нужной огневой бегут люди. Потные молодые ребята с белыми от соли спинами о чем-то спрашивают меня, что-то кричат, но я не слышу и не отвечаю. Какой-то курносый парень в надетой звездочкой назад пилотке, пробегая ближе других, бросает:

- Дурной или контуженный?

И второй, что рядом бежит с пулеметом, смеется. Им радостно.

А я думаю: кто из нас вчера мог представить себе, что случится сегодня?

Все эти долгие месяцы я мечтал об одном: только бы дорваться до немцев! И вот дорвался! Как все это сложно и трудно! На сколько же фронтов надо бороться - и с врагами, и с разной сволочью рядом, наконец, с собой.

Сколько побед надо одержать, чтобы они сложились в ту, что будет написана с большой буквы? Как мало одной решимости, добрых намерений и сколько еще надо силы! Земля моя родная, люди мои добрые, дайте мне эту силу! Мне она так нужна теперь, и больше ее просить не у кого.

Темнеет. Сражение катится дальше. Холмы уже наши. По полю идут минометчики. Согнувшись под тяжелыми катушками, бредут связисты... Куда-то

мчатся ездвые на передках...

И вдруг из сумерек меж воронок появляется Лешка. Торопливым, уверенным шагом он подходит к огневой. В его здоровой руке два котелка, под мышкой, той, что белеет бинтом, - буханка хлеба. Самоуверенно, с таким видом, будто он только десять минут назад был тут, Лешка здоровается.

- Привет! Ну как? Выдержали? Победили? Порядок.

Опустившись на одно колено, он бережно ставит на неровную землю котелки, кладет хлеб:

- Война войной, а есть надо. Правда? Вот раздобыл, расстарался... А где же хлопцы?

Я молчу, чувствуя, как все в моих глазах закружилось, заколыхалось и поплыло в знойном тумане. Видно, он замечает это и становится серьезнее.

- А меня, знаешь, немного тюкнуло. Пока до санроты добег, перевязался, ну и задержался... Вот еще Люська пропала. Была и пропала. Искали, искали... Так где же хлопцы? Остынет.

Туман передо мной рассеивается - воронки, бугры, бруствер и Лешка отчетливо встают перед глазами.

- Иди сюда, гад!

Я поднимаюсь, поворачиваюсь к огневой, и Лешка, предчувствуя что-то, послушно лезет вверх.

- Не там ищешь! Гляди! - кричу я. - Гляди, сволочь!

Несколько секунд он хмурится, осматривает покойников, но сразу же здоровой рукой начинает одергивать свою коротенькую гимнастерку.

- Ну и что? Чего смотреть? - зло огрызается он. - Подумаешь! Война! Вон не таких побил. Комбату голову оторвало. Что, я виноват?

- А кто же? Твоя работа! Гад ты! Сволочь! Судить тебя!!!

- Судить? - ярится он. - Пошел ты к черту, молокосос! За что?

- Ах, за что? Ты не знаешь за что? Ты погубил их. Мы ждали тебя, почему не пришел? Свою шкуру спасал?

- Ранило вот! На, смотри! Не веришь? Показать тебе? - Он тычет в мое лицо забинтованной кистью и начинает срывать с нее бинты.

- Ноги ведь у тебя целы, гад ты ползучий! Почему комбату не доложил? Почему Люсе сказал, что нам конец? Почему?

Каждая клетка во мне негодует. Я готов растоптать его, искалечить, смешать с землей. Он же, я вижу, хочет казаться равнодушно-уверенным, но то и дело срывается - злится, кричит, стараясь утопить в этом крике растущую в себе тревогу.

- Если хочешь знать, никакого разрешения не было, вот. Комбат убит, он не приказывал. Я ничего не знаю. Ранен, вот!

- Что-о-о? - кричу я, теряя над собой власть.

- А то! Комбат мне ничего не приказывал. Вот! Я Люсе ничего не говорил. Что вы натворили тут - не моя вина. Я в стороне.

- Ах, так ты в стороне, значит?! Сволочь!

Не чувствуя себя, я подскакиваю к Задорожному, готовый ринуться в драку, как тогда ночью на этом самом месте.

- Ну, а если нет, - кричит он, - иди докажи! А где свидетели? Может, оживят Процкого, Люсю, спросят их?.. И прочь от меня, сопляк!

Он замахивается на меня натренированной ногой футболиста, но я в беспамятстве от гнева даже не отскакиваю, я вскидываю ракетницу и огненной струей бью в его ненавистное, искаженное злобой лицо.

Выстрел оглушает, и все внезапно обрывается. Руки мои дрожат, как не дрожали за весь сегодняшний день. Яркое сияние ракеты, все разгораясь, ослепительным светом заливает огневую, станины, скособоченный щит, колесо, труп немца, каждый комок в окопе. За пушкой трепещут, дрожат черные, как деготь, тени. На несколько мгновений на бруствере с необыкновенной яркостью вспыхивает прямая и удивительно маленькая фигурка Люси. Ярко и горячо осветившись, она медленно меркнет, и все поглощает тьма.

Огромная, накопленная за этот адский день злость, вдруг прорвавшись,

сразу опадает во мне. Разбитый и опустошенный, я швыряю ракетницу в темноту и, отойдя на другую сторону огневой, ложусь вниз лицом на жесткие комья бруствера.

За холмами медленно утихает бой. Отсветы далеких ракет скупо мерцают на ободранном щите пушки. К ночи начинает источать свои запахи изрытая взрывами, исполосованная танками, иссеченная железом земля. Росистый аромат трав постепенно забивает другие запахи - и пороховой смрад гильз, и бензиновый чад танков. Вверху, в прозрачном летнем небе, высыпают редкие звезды. Обессиленный, я долго не могу пошевелиться и пластом лежу на земле. Все во мне свернулось, сжалось, осело - и только жгучей болью горят в душе моя несчастная любовь и моя неукротимая ненависть.

Я лежу так, пока из темноты не доносятся знакомые голоса. Размеренно звякает валец, коротко фыркают лошади - это едет расчет Степанова. Видно, ребята ищут нашу огневую, останавливаются, и вскоре наводчик Курбьяк, заметив меня на бруствере, кричит:

- Давай сюда! Тут они!

Тогда я встаю с земли. Появление товарищей несет мне облегчение. Правда, я чувствую, что придется многое объяснить и за что-то ответить. Но я не боюсь. Что бы со мной ни случилось, я готов на все, - хуже и страшней, чем сегодня, мне никогда уже не будет.